Б 26.
Бартель М.
Мельница мертвых
1927

Б 26

Универсальная библиотека

№ 376—377 Ц. 20 к.

М. БАРТЕЛЬ

МЕЛЬНИЦА МЕРТВЫХ

ПОВЕСТЬ

15/8 '85

83-3

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
№ 376—377

Б26

МАКС БАРТЕЛЬ

МЕЛЬНИЦА МЕРТВЫХ

Перевод
ЮРИЯ ДЯЛИНА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА РСФСР
№ 92666
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТ КРАСН. ПРОФЕССУРЫ
№ 92666/V
116 б
495/6

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ★ 1927 ★ ЛЕНИНГРАД

MAX BARTEL

DIE MÜHLE ZUM TOTEN MANN

Отпечатано в 1-й Образцовой
тип. Госиздата. Москва,
Пятницкая, 71.

Главлит № 92233. Гиз № 20508
Тир. 15000. Заказ № 3000.

Государственная публичная

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ДЕВУШКИ НА ВОЙНЕ.

Многие солдаты великой войны до сих пор вскакивают по ночам в страшном испуге, оглашая ночную тишину пронзительными вскриками. Придя в себя, проснувшийся сообщает жене боязливым шепотом перипетии своего кровавого сновидения, рассказывает о фантастическом, неуловимом для слуха беглом огне на передовом фронте совести и о протяжных раскатах орудийной канонады в глубочайшем тылу души. К счастью, близость любимой женщины скоро успокаивает его тревогу: горы трупов рассыпаются, братские могилы замыкают свои пасти и стоны раненых замирают. Призраки-мучители рассеиваются в объятиях любви.

Меня зовут Клингер. У меня нет ни единой близкой души и некому меня поддержать, когда появляются

залитые кровью призраки минувшей войны. Я бродяга и живу на больших дорогах мира.

За стенами маленькой комнатки постоялого двора бушует весенняя буря. Товарищи спят. Мне одному не до сна. Я должен писать — рассказывать и исповедываться. Мне нужно исповедаться не перед попами, которые призывали на наше оружие благословение неба, — не перед ними, а перед собой и перед всеми теми, кто вздумает прочитать эту книжечку.

«Мельница Мертвых» — одна из мельниц в Аргоннах. Аргонны — это лес во Франции, в котором было больше убитых солдат, чем живых деревьев. Многие источники в Аргоннах были отравлены разлагавшимися трупами. В этом лесу были взорваны первые мины, и на этом же фронте применена впервые газовая война.

В тот день, о котором я собираюсь здесь рассказать, шел дождь. Уже третий день с низко нависшего неба лились потоки дождя, затоплявшего лес. В долинах клокотала грязь. В окопах на склоне горы, где мы залегли, было сыро и холодно. Из Шампани доносился грохот далекого боя. Но и этот бой замер, как замерли все остальные схватки.

За четыре дня перед этим в лесу разыгрался бой за обладание «Мертвой Дочерью» — разрушенной горной дорогой, господствовавшей над долиной Мерисон. В этом бою пал наш приятель Аншперг, который, начав мушкетером, дослужился до чина поручика

и был награжден обоими Железными Крестами, а затем удостоился и последнего креста — деревянного — с надписью: «Здесь покоится...».

У Аншперга была сестра. Ее звали Виктория. Мы все любили ее. Мы выставили в окопе ее портрет, наподобие того как выставляются изображения Мадонны. Аншперг подарил мне этот портрет в свой последний час.

За четыре дня до этого мы участвовали в атаке и теперь с нетерпением ожидали смены. Нам ведь предстояло вырваться из зачумленных объятий леса, предстояло опять увидеть места, обитаемые людьми: дома, жилые комнаты, амбары и сады. Правда, военная гроза пронеслась и над этими селениями, но иллюзия долгожданного возвращения домой придавала небывалое очарование широким улицам и убогим деревенским домикам.

В одной из деревень в тылу фронта жила семья Леблан с двумя девочками-подростками. Несмотря на юный возраст, — одной было всего четырнадцать лет, другой — пятнадцать,— эти девочки были уже очаровательными маленькими женщинами. Одну из них звали Иванной, другую Розой. Впрочем для нас и эти малютки были не больше как иллюзией: они предназначались для поручиков тыла. Аншперг любил Иванну, любил так, как только может любить молодой человек, проживший целые месяцы в соседстве могил. Теперь он больше не любит: теперь он лежит в могиле. А мы жили и часто предавались несбы-

точным грезам о Розе и Ивонне. Более пожилые товарищи грезили о женах и детях, о скотине, задумывались об урожае и податях. Мечты Аншперга, покуда он был жив, имели другое направление: в одной из деревень жизнь показала ему белоснежную ручку, и он взял эту ручку.

Мне вспоминается последняя ночь перед штурмом «Мертвой Дочери». Я стоял на посту. На небе мерцали мартовские звезды. Аншперг был дежурным в окопе и простоял со мной целый час.

— Клингер,—говорил он,—мне бы хотелось, чтобы уже наступил завтрашний вечер, тогда все это было бы уже позади. Я не скажу, чтоб я боялся, но я ощущаю физическую боль в сердце. Я чувствую, как оно болезненно вздрагивает, прогоняя кровь по жилам. Такое ощущение у меня бывало раньше, на родине, когда я поджидал мою девочку. Сердце успокаивалось, когда мне удавалось расцеловать Дору.

— Эти вздрагивания сердца и мне знакомы, — отвечал я, — это случается от радости. Скоро нас отпустят на отдых, и мы вернемся в деревню. А когда ты думаешь съездить в Германию? Не забудь тогда поклониться сестре; слышишь, Аншперг?

— Я съезжу в будущем месяце, — продолжал шептать Аншперг, — и все же я в тревоге, Клингер, в самой малодушной тревоге, не за себя, нет, — за девушек. Война — настоящий людоед. Знаешь ли, Клингер, говорят, Розу и Ивонну увезут в Шарлевилль, в тыловую базу.

— Но ведь они еще совсем дети.

— Оставь, — возразил Аншперг, — они и спрашивают ребятишек, эти господа в тылу.

В это время месяц осветил исказившееся лицо поручика. Мне тоже как-то случилось побывать в Шарлевилле, и я насмотрелся там жутких вещей. Несмотря на это, я попробовал пустить в ход глупое солдатское утешение, промолвив со вздохом:

— Что же делать, Аншперг, ведь мы на войне.

— Перестань, — вспылил он, — причем тут война? Как будто мы воюем с девушками. А впрочем,— прибавил он, помолчав, — может быть, ты и прав: столько мужчин околевает из-за ненависти, так почему же двум девушкам, которых мы с тобой знаем, не погибнуть из-за любви?

Не дожидаясь моего ответа, он убежал. Это было в два часа ночи. В пять часов пять минут началась атака. В пять часов десять минут поручик Аншперг погиб...

Попрежнему шумел дождь, вечный дождь. Отдаленный бой в Шампани кончился. Мертвые лежали мертвыми, оставшиеся в живых попрятались в земляные норы. Дождь да могилы без числа, — только это и оставалось на свете, а среди рвов и могил лежали мы.

В конце концов небо стало очищаться. По небу быстро неслись облака. Между ними показались клочки лазури. От времени до времени над горами катилось, сияя, бледное солнце, появлявшееся внезапно и как-то неестественно, точно в театре.

В этот день к нам, в наш черный лес, пришла молодая девушка. Хорошенькая и совсем молоденькая, лет семнадцати-всемнадцати, она грациозно шагала по вязкой грязи. Из-под зеленого капюшона дождевого плаща боязливо выглядывало лицо, в одно и то же время и бледное, и лучистое, совсем как то солнце над горами. Эта девушка была Виктория, она явилась за телом брата, чтобы увезти его в Германию. Ее сопровождал поручик пионеров с четырьмя солдатами. Поручик не спускал с Виктории широко раскрытых глаз. Его лицо напоминало удивленное детское личико восковой куклы. Я стоял перед окопами вместе с Мунком и Паулусом.

— Девушка, — крикнул я, — девушка у нас в лесу! — и своим восклицанием переполошил других товарищей.

— Девушка! Девушка!

И несколько мгновений спустя вся рота стояла в изумлении на пологом склоне горы.

— А ведь это Виктория, — сказал Мунк, взглянув на меня.

— Дурак, — крикнул я ему в ответ, — Виктория в Гейльбронне! Разве это Виктория? — обратился я с угрожающим тоном к Паулусу.

— Ну да, — отвечал тот, — это Виктория.

И в самом деле это была Виктория. По какой-то глупой случайности нашу роту забыли предупредить, иначе мы встретили бы Викторию со всеми почестями. Мы все любили Аншперга. Только капитан наш не

любил его. Капитан был фабрикант из Вюртемберга, по фамилии Фогеле. Скоро и он, кряхтя, показался из окопа, со своим багрово-красным лицом, и вместе с нами стал смотреть на необычайных посетителей. Запыхавшись, прибежал новый поручик и притащил полевой багор. Я был, как убитый, и не мог шевельнуться. До сих пор дивлюсь, почему я не поклонился Виктории. Мои ноги были парализованы, а уста онемели от полноты сердца.

Небольшое кладбище, где похоронили Аншперга, выглядело чрезвычайно уныло. Команды могильщиков положили убитых в ряд, в строгом порядке, словно задавшись целью угодить небесному фельдфебелю при последней перекличке, — но впоследствии гранаты нарушили этот педантичный порядок. Многие могилы стояли разгромленные, многие кресты были разбиты в щепы. В одной могиле взорвался снаряд и обнажил разлагающийся труп покойника.

Я видел, как Викторию охватил ужас, и ее и без того бледное лицо еще больше побледнело. Даже красные губы ее побелели. Один из пионеров прошел по ряду могил, отыскивая покойника, которому было суждено вернуться на родину. Солдаты вчетвером вырыли павшего из земли. Гроб для него был приготовлен заранее и стоял подле.

Широко раскрывшимися, помертвевшими от ужаса глазами оглядывала девушка расстрелянные горы, разгромленный лес. Словно задыхаясь, она сорвала с головы зеленый капюшон. Грудь ее судорожно под-

нимались и опускалась. И в таком ужасном состоянии, вся охваченная нервной дрожью, стояла здесь, в приторных испарениях могильного тления, та девушка, чей портрет красовался в нашем окопе, заменяя изображение Мадонны!

Мелкий дождик сеялся на ее неприкрытые волосы, сбегая струйками по лицу. С каждым ударом заступов в руках солдат, разрывавших могилу, она вздрагивала, как будто эти широкие лопаты вонзались в ее грудь. Вдруг она начала плакать. Он рыдала, когда солдаты подняли гроб на плечи, не перестала плакать и тогда, когда поручик сделал робкую попытку что-то сказать ей в утешение.

Ее слезы разжалобили даже нашего капитана, который, не моргнув глазом, посылал своих людей в огонь, а сам оставался в блиндированном окопе. Охая, он вернулся в нору, служившую ему жилищем. Новый поручик, — его звали Бах, — тоже ушел, бросив багор на землю. Товарищи снова забрались в окопы. На месте остался я один.

Печальное шествие медленно удалялось по долине. Видя, что девушка не перестает плакать, поручик бережно просунул руку под ее локоть, но Виктория пугливо отшатнулась, почувствовав прикосновение его руки. Тут наконец оцепенение с меня соскочило Я сбежал под гору и до слуха моего донеслись слова Виктории:

— Не нуждаюсь я в вашей руке, не надо мне вашего участия, — говорила она поручику, и мое

сердце ликовало, — я не приму вашей руки, потому что на ней запеклась кровь.

Подавив рыдания, она мужественно зашагала дальше по черной грязи. Я пошел за ней следом, совсем близко, но она меня не замечала.

— Ах, брат мой! — простонала она и затем зашептала: — ах, вы бедные, бедные солдатики!

Поручик сурово выпрямился и шагал молча рядом с ней. Четверо солдат несли тяжелый гроб по долине, направляясь на «Мельницу Мертвых». Виктория дошла вместе с ними до покинутой мельницы, а оттуда по полевой железной дороге увезла брата через Гран-Пре в Германию.

Я долго бегал по лесу под дождем, и было уже поздно, когда я вернулся в наше расположение. В этот день по всем окопам раздавался хвалебный гимн в честь Виктории. На следующий день нас отпустили, и мы возвратились на три недели в деревню, где жили Ивонна и Роза.

Деревня еще стояла на прежнем месте, но обе девочки, как и предполагал Аншперг в свою последнюю ночь, были увезены в Шарлевилль — в главную базу. Аншперг был прав тогда: сотни тысяч мужчин умирали из-за ненависти, почему было не погибнуть двум маленьким девочкам из-за любви?

О трех неделях, проведенных на отдыхе, почти нечего рассказать. Маленькие домики с одичавшими садиками, полными вешних благоуханий, уже не радовали меня, как прежде. Тяжелое строевое ученье

отравляло первые ясные дни весны и мешало наслаждаться прелестью французской природы.

В этой деревушке я пережил два события, которые и посейчас живы в моей душе. На третий день нашего отдыха в деревне хоронили офицера, в которого угодила граната в то время, когда он был занят истязанием солдат. Хоронили его торжественно: у гроба гремела музыка, и сотня людей провожала его на кладбище; в церкви звонил разбитый колокол. У открытой могилы эти сто человек пропели мрачный и грозный хорал. И там-то, у этой могилы, ко мне вернулось утраченное сознание ценности человеческой жизни. У нас на фронте убитые висели растерзанные на колючей проволоке, либо сваливались в общую могилу, а музыку им заменял непрестанный концерт орудийной пальбы.

В ночь перед обратным выступлением на фронт я видел во сне Руфь. Когда-то я любил ее, но впоследствии Виктория вытеснила ее образ из моего сердца. Мне приснилось, что Руфь приехала навестить меня в деревню, где мы отдыхали. Затем я увидел, что приехала совсем не Руфь, а Виктория, только принявшая образ Руфи. Потом опять была Руфь, с ее обликом дамы, и она насмешливо улыбалась. Но я не обратил внимания на эту насмешку, мне во что бы то ни стало хотелось видеть в ней Викторию.

— Наконец-то ты пришла, наконец-то, наконец-то ты здесь! — вскричал я, протягивая к ней руки.

Но девушка смотрела холодно и едва ответила мне кивком головы.

— Да что же это с тобой? — спросил я, растерявшись, потому что совсем не такой отражалась она в зеркале моей души.

— Со мной ничего, — отвечала девушка, — я тоже очень рада. Со мной-то ничего, а вот ты скажи, почему твои руки так страшно перепачканы? Пожалуйста, не дотрагивайся до меня...

В самом деле с моих рук еще не сошла грязь леса, зато мое сердце было чисто; я чувствовал, как оно поднималось и опускалось в моей груди вместе с приливами и отливами крови, подобно размахам колокола. В конце концов девушка все же протянула мне руку, расчувствовалась и обняла меня. Я держал в объятиях Руфь, а думал о Виктории.

Тут показался капитан соседней роты, уже давно удравший с линии огня, — как только гранаты стали рваться слишком близко. Как всегда, он проезжал в тылу на своей вороной лошади. Заметив нас, он соскочил с коня, бросил поводья вестовому и направился к нам, с важностью позвякивая шпорами.

— Это что же такое, братец? — заревел он на меня.—Мировая война в разгаре, Европа в пламени,— время ли тут для любви и поцелуев?

— Да ведь это Виктория, господин капитан, — возразил я, — ее портрет висит у нас в окопе.

— Виктория? — повторила девушка. — Что ты! Меня зовут Руфь.

— Слышишь, братец, — крикнул сердито капитан, — это не Виктория! — звякнув шпорами, он склонился перед девушкой и проговорил: — Сударыня, охота вам расточать свою любовь простому рядовому.

Девушка высвободилась из моих рук.

— В самом деле, — повторила она высокомерно и растягивая слова, — к чему я расточаю свою любовь простому рядовому? — И с этими словами она улыбнулась офицеру.

— Вот видишь, братец, — торжествовал капитан, подавая руку Руфи.

И они ушли вдвоем по широкой дороге, обвеянной дыханием весны; капитан — звеня шпорами, девушка — покачивая бедрами.

На следующее утро, во время обратного перехода к нашему лесу, я рассказал этот сон Мунку. Терпеливо дослушав меня до конца, он сказал мне:

— Клингер, и какой же ты дурак!

На эти слова я только улыбнулся: я знал, что и Мунк любит Викторию.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

МЕРТВЫЕ В ЛЕСУ.

Но вот зазеленел и лес мертвых. Расстрелянные деревья выбросили молодые побеги. Пышно распустились кусты. Заволновалась трава, и даже зацвели цветы. Орудия грохотали вволю, но и у них не хватало сил заглушить щебетанье птичьего хора по утрам.

Мы были в рабочей команде: таскали в лагерь пионеров мины и динамит, рельсы и колючую проволоку. Капитан наш не показывался, зато поручик Бах оказался бессовестным погонщиком: он метил заслужить Железный Крест первой степени. Однажды по его распоряжению Мунк был привязан к дереву на два часа, — я уже не помню за что. В отместку за эту жестокость впоследствии кто-то стрелял в поручика Баха в окопе. Этот неудавшийся выстрел

доставил ему желанный Железный Крест первой степени. И с того же времени поручик стал мягче обращаться с солдатами.

В один прекрасный день, проходя по лесу вместе с Мунком и Паулусом, мы набрели на труп неизвестного солдата 171-го полка. В то время в лесу не было других людей, кроме солдат: молодые солдаты, старые солдаты, больные солдаты, раненые солдаты и мертвые солдаты. Лес, в котором мы нашли убитого, был населен бесчисленным множеством соловьев; в мягкие весенние ночи они пели, как зачарованные, не обращая внимания на боевой гром. За лесом тянулись поля и луга, они разукрасились в эти дни со всей роскошью весны. В тылу фронта природа праздновала прекраснейший из своих праздников, как будто она заботилась о том, чтобы на земле сохранилась хоть какая-нибудь отрада.

Прежде всего долины и луга подернулись нежно-лиловой дымкой ночных красавиц, потом горные склоны загорелись яркими пятнами золотисто-желтых лютиков, а под конец и луга, и долины, и горы осыпались сверкающим снегом девственных маргариток.

И среди этих цветочных куртин лежало тело убитого. Шальная граната растерзала ему лицо. Тут же в цветах мы и зарыли несчастного, прикрыв травой и белыми цветами его ужасную рану и засыпав могилу желтой землей. В бывших при покойнике бумагах мы нашли письмо.

Это случилось уже на третьем году мировой войны За это время я многому был свидетелем и многое успел пережить, и тем не менее найденное письмо опять сорвало повязки со всех ран, и сердце мое еще раз потонуло в крови, как в тот уже далекий день, когда Виктория приезжала за братом.

«Я получила твое письмо, — писала жена неизвестного из Германии, — и перецеловала каждое словечко этого письма. Спасибо тебе за то, что ты пишешь так часто и так сердечно. Сынок наш подрастает. Его глазки светят мне, как солнышко, и подкрепляют меня, когда уж очень одолеет тоска. Пусть же он не будет повинен ни в одной капле пролитой крови, как повинны мы все. Пусть он всю жизнь осушает слезы, как делал это в детстве. Недавно он придумал себе новую игру — игру со своим отражением. Его сердечко радуется, когда он видит свое изображение в светлом стекле. Как он мил и как счастлив, этот маленький мужчина, когда в зеркальце промелькнет его сияющее личико! Ах, если бы ты мог его видеть!..

Прошлой ночью мне снился необыкновенный сон. Мне приснилось, что все женщины и все девушки, у кого только есть на войне любимый человек, собрались во Францию. Сон был в самом деле диковинный, потому что, видишь ли, на родине поднялось небывалое движение: женщины и девушки покидали квартиры, фабрики и конторы, и все отправлялись в дорогу. Все пело, все ликовало. Я тоже потеряла голову от счастья. Шаг за шагом наш поезд все увеличивался,

как огромная лавина любви, и все больше наполнялся радостным шумом; слезы мигом обсохли на всех лицах: вместо слез из всех глаз струились лучи счастья.

Наконец, я очутилась во Франции. Страна была такая же, как и Германия: города и деревни, цветы, леса, трава, синее небо и белые облака, — но над полями катился отдаленный гром, и тамошние женщины и девушки плакали. Их слезы стекали в ручьи и реки той страны. Когда я это увидела, я снова опечалилась и оробела.

Отерев глаза, я заметила, что стою около орудия. У орудия лежал солдат. Я нагнулась к земле и спросила про тебя, но ответа не дождалась: человек был нем. Вдруг он навел свое орудие на небо и принялся стрелять в белые облака. Потом, настрелявшись по небу, он открыл огонь по женщинам и девушкам. Те с плачем бросились бежать под огнем. Однако они остались невредимы. Тут появился наш приятель Бергман.

— Павел еще на горе, он ждет тебя, — сказал Бергман.

Тогда я поднялась с земли, мое сердце рвалось к тебе, и я поспешила на гору. Широкий ров пересек мне дорогу. Во рву стоял солдат, он остановил меня.

— Ни шагу дальше, — сказал он, — здесь граница: в войне участвуют только мужчины.

— Неправда, — возразила я, — в войне участвуют и женщины; пронизывая сердце солдата, та же

пуля попадает и в сердце женщины. Пропусти меня. Я хочу к мужу, я должна итти к нему.

И я была пропущена.

За рвом рос темный лес. За лесом было расположено обширное кладбище с множеством могил. Теперь послушай, что я увидела: это кладбище было усыпальницей королей и императоров. Я видела много могил, и на каждой клокотала кровь. Это было жуткое зрелище. Из крови вырастали цветы, цветы с мертвыми головами. А в голых черепах шевелились живые глаза, и они смотрели на меня. Не выходят у меня из сердца эти взоры мертвецов, эта мука несчастных глаз. Тут пришел старик, — последний король на земле, — желтый скелет. В иссохшей руке он держал корону, эта корона была клетка с красными рубинами.

Я пошла дальше и в конце концов очутилась на горе, разыскивая тебя. Вдруг у меня под ногами раскрылись могилы. И я увидела, что вся гора была не что иное, как могильный курган. В могилах истлевали тела солдат; в гниющей груди каждого трупа я видела сердце, и эти сердца все еще исходили кровью, как будто они были бессмертны. И над всеми могилами стояло сияние, точно отблеск рубинов.

С горы мне была видна Германия. Я видела матерей и детей. Наш сын плакал вместе с другими детьми: он разбил зеркало, в котором когда-то отражалось его личико. Я видела стариков, медленно умиравших от недоедания. Потом я увидела новых богачей, толстею-

щих и жиреющих, в то время как вы исходите кровью, обреченные на смерть. Я их видела в золоте и шелках, но и их тучные лица освещались рубиновым сиянием. Напиши мне, дорогой, что означает этот алый цвет? От богатых людей исходило зловоние, как от чумы или от гноящихся язв.

Но вот земля еще раз расступилась, и образовалась пропасть, наполненная кровью и слезами. В них плавали трупы убитых солдат. Я видела немецких, французских, английских и русских солдат, и из черного потока выбегали на родину жертв сверкающие ручейки чистого золота. Как стремились к тебе мои мысли! Как жаждала я тебя! Я знала, что твои ласки вернут мне бодрость и силу.

Вдруг загрохотали пушки, и земля сомкнулась. Тут я проснулась, разбуженная сильным ударом грома, — оказалось, что над городом разразилась гроза. Я вскочила с постели, распахнула окно и освежилась, а затем села писать тебе это письмо. Мальчик спит. Спи же и ты спокойно, мой дорогой, и возвращайся поскорей. Грудь моя сжимается от тоски по тебе».

Мунк и Паулус также прочитали это письмо, после чего мы вернули его мертвецу 171-го полка и вместе с ним опустили в могилу.

Мунк вообще отлично умел сдерживаться, но на этот раз даже он не выдержал. С диким хохотом он сорвал в траве полную горсть цветов.

— Околевайте, — закричал он, — к чему вам цвести, когда солдаты умирают! Какой смысл в этом

великолепном соловьином концерте над гаубицами? Всем крестам, нацепленным на наши груди, не перевесить того одного креста, на котором распяли жену этого солдата.

— Стоит ли поднимать столько шума из-за этой женщины? — заметил Паулус, и его мысль проделала тот же скачок, какой сделал Аншперг в ту ночь, когда мы с ним вспоминали двух загубленных девочек.

— Вчера ночью, — начал он, — мы проходили по месту бывшего боя; мы тащили рельсы, и что-то хрустело у нас под ногами. Ну что же, пусть хрустит, — говорили мы себе, — это ломается хворост. Как раз в это время француз открыл огонь. Мы бросили рельсы, попрыгали в окопы и дотащили рельсы рано утром. И тут мы увидели, что ночью мы проходили по кладбищу, усеянному трупами солдат, которых не успели зарыть. Не больно красиво оно выглядело! Оказывается, ночью-то хрустели солдатские грудные клетки, когда мы их растаптывали ногами. Ну так вот стоит ли столько шуметь из-за одной женщины?

Тем временем Мунк успел овладеть собой. Мунк имел пристрастие к разным необыкновенным историям; из таких историй он составлял «Бестиарий человечества» По его мысли, должна была получиться книга, в которой были бы собраны примеры человеческой тупости, героизма, жестокости и великодушия. Впоследствии, когда возобновился бой за «Мертвую Дочь», Мунк однажды рискнул выползти из окопа,

чтобы спасти раненого, и, я уверен, он это сделал ради того, чтобы пополнить лишним фактом задуманную книгу.

— А я все-таки скажу: да будут прокляты соловьи, — заговорил Мунк снова, — даже и в том случае, если бы они в своих великолепных песнях оплакивали погибшего солдата 171-го полка. Мне вспоминается происшествие, пережитое мной и Аншпергом в первый год войны. Если хотите, я вам расскажу.

— Расскажи, — попросил Паулус, и я поддержал его кивком головы.

— Когда-нибудь эта история будет красоваться во всех детских хрестоматиях; на ней дети будут проверять свои чувства. Мы залегли в заросли колючей крушины. Осень уже перекрасила лес в красные и желтые цвета. Французские окопы были далеко. Когда мы стреляли, наши пули, просвистав, глухо шлепали в древесные стволы. Между нами и французами находился родник с чудесной прохладной водой. Во время стрельбы обе стороны щадили его, потому что этой водой утоляли жажду как мы, так и французы. По обе стороны источника лес был разгромлен: ведь шла война, а в первые месяцы мы еще верили громким фразам, которыми они нас сбили с толку. Вы знаете, они толкуют про «священную землю», про «родину», а сами жиреют и пьют нашу кровь...

— Ты ведь хотел рассказать про родник, — перебил его Паулус.

— Дурак, тут тоже своего рода родник, — рассердился Мунк, — но об этом мы громко и грозно заговорим после, когда война будет окончена... Итак, источник в крушинной заросли поил как нас, так и французов. Я ходил к роднику с первой партией водоносов, и мне хорошо знакома история пятерых убитых.

— Пятерых убитых? — переспросил я.

— Да, пятерых убитых. Однако сегодня вы неугомонны, как целая стая каркающих ворон. Дальше. Так вот, когда мы в первый раз набирали воду, ружья висели у нас за спиной. Только что мы собрались в обратный путь, как появилось пятеро французов. У них тоже за спиной были ружья. Таким образом мы стояли друг против друга, бедные солдатики, которым хотелось пить, безоружные, хотя и при оружии, лицом к лицу. Следовало ли нам стрелять? Нет, нам хотелось жить. Вокруг нас все дышало миром, который всегда осеняет душу человека в глухом лесу. Для того-то и велят расстреливать леса, чтобы ни дерево, ни кустик не могли принести нам отрады и чтобы ничто не сдерживало бушующего в нас зверя... Дальше. Французы не стреляли, несмотря на то, что могли бы открыть огонь намного раньше нас. Отступая лицом к врагу, — как любит говорить наш капитан Фогеле, когда заваривается дело, — мы возвратились в окоп.

— А пятеро убитых? — торопил рассказчика Паулус.

— А вот пятеро французов, с которыми мы встретились у источника, это и были те пять убитых. Но в тот день срок их отпуска еще не истек, как и наш отпуск сегодня еще не кончился, друг мой, — отвечал Мунк. — В те осенние дни относительно родника было заключено соглашение, — сердечное соглашение, если можно так выразиться, заключавшееся в том, чтобы воздержаться от стрельбы у источника питьевой воды. В этом месте мир не должен был нарушаться. В окопах мы были неприятелями, там стреляли, ходили в атаку, а когда приходилось — и умирали. А у этого источника в крушинной заросли много недель царил мир. У нас становилось и грустно, и в то же время отрадно на душе, когда мы вспоминали об этой целительной воде. Она не принадлежала ни немцам, ни французам; подобно небесной лазури, сквозь которую наш взор проникает в мировое пространство, она не признавала над собой государственной власти, эта освежающая живительная кровь земли.

Но с прибытием первого подкрепления, в виде партии неотесанных мужиков из самых глухих углов Шварцвальда, нашему перемирию пришел конец, и война возобновилась. В надежде ли таким образом отличиться или просто из слепого страха, только наши открыли огонь по французским водоносам.

Я еще помню отчетливо этот вечер. Стоял один из последних хороших осенних дней. В голубом сиянии струились с неба потоки золотых лучей. Лес у род-

ника смотрел так празднично, так весело в своем предсмертном уборе. Я стоял на посту, вспоминая о Германии, о неразгромленных домах, цветниках, о реке, протекавшей на моей родине, о моей матери, о моей подруге. Как вдруг у родника затрещали ружья, и я увидел наших водоносов, что есть духу бегущих назад в окопы с криком: «Французы, французы!» В нашей роте произошел переполох, но французы не появлялись. Они лежали мертвые, эти пятеро солдат 12-го линейного полка — фабричные рабочие: Шарль Дюмон, Клод Тийлье, Андре Симон, почтальон Жак Фонтэн и писатель Анри Блан...

После длинной паузы, Мунк так заключил свой рассказ:

— С этого дня началась война за источник. Пятеро убитых еще в следующем году валялись в лесу желтыми скелетами — в зеленой траве, испещренной красными и синими цветами. С нашими водоносами я долгое время не был в состоянии говорить, до того эти люди были мне ненавистны. А позднее мне пришло в голову, что, пожалуй, эти выстрелы были к добру,— вот ведь какая бестия солдат, — потому что этот родник со своим перемирием, чего доброго, в конце концов мог бы свести нас с ума. Что вы об этом думаете?

— А что говорил Аншперг? — уклонился Паулус от ответа.

— Аншперг около этого времени был произведен в унтер-офицеры, он не меньше моего возмущался поступком водоносов. Он сорвал с своего мундира

Железный Крест, — а Железный Крест считался в то время редким отличием, — и крикнул мне: «Мунк, что мне сделать с этими молодцами?» Я пожал плечами, не зная, что ответить. Однако же Аншперг скоро отучил их от бессмысленной и ненужной стрельбы. Он таскал их с собой в патрулях, гонял на работы до кровавого пота и хорошо отплатил мужикам из Шварцвальда за пятерых убитых французов.

— А Железный Крест? — спросил я.

— По приказу капитана ему пришлось снова надеть его, — ответил Мунк.

После этого мы уже мало разговаривали в тот день. Каждый отдался своим собственным думам. Мы думали о том, что и мы в отпуску не дальше как до ближайшего боя и каждую минуту можем быть отозваны в черное ничто.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

БРАТАНЬЕ.

Мы проводили в окопе один из наших многочисленных вечеров. Мунк рассказывал нам истории из своего «Бестиария», а я беру на себя распространить их дальше, так как сам Мунк лежит в одной из братских могил и рассказывать уже не может. Очень возможно, что вы перезабудете все эти истории и, в упоении блеском и славой, ринетесь в новую войну, — неслыханно кошмарную войну с применением газов, которые уничтожат целиком цветущие страны, не давая пощады даже женщинам и детям в больших городах. Минувшая война, я это знаю наверняка, покажется рядом с будущими ужасами невинной детской забавой.

Зажмурив глаза, я вижу земной шар плывущим в пространствах вселенной. Даже и сейчас, во время затишья, он зловеще освещен отблесками пожаров.

Происходят войны или междуусобия в Китае, в Индии, в Египте, в Судане, в Марокко, на Балканах, в Италии, в Венгрии, Бразилии, Чили, Мексике. Попробуйте хорошенько прислушаться в ночной тиши, — и вы услышите, как где-то трещат выстрелы, умирают мужчины, плачут женщины и дети. Заодно вспомните и о тюрьмах да смирительных домах, где томятся борцы за свободу.

Рука об руку с завоеванием и эксплоатацией природы идет наглая эксплоатация низших классов, угнетение цветных рас, бессовестное втравливание народов в новую войну.

Но я все-таки продолжаю рассказывать свои истории и писать их: может статься, мои рассказы все же расшевелят того, другого и научат кое-кого беречь тот источник, который бьет серебряным ключом, несмотря на проливаемую кровь и всевозможные невзгоды, — источник братства и любви к людям. Каждая страна имеет свой Шварцвальд. Быть может, и в эти дебри когда-нибудь проникнет свет.

— Это случилось близ Фур-де-Пари, — рассказывал Мунк. — Наступила пора осенних дождей. По целым дням не было слышно ни одного выстрела. Война захлебнулась в лесной трясине. Дождевая вода размыла покойников в неглубоких могилах. В уединенных местах наши солдатики обирали мертвецов, спеша унести все, что попадалось под руку: часы, гамаши, кошельки и ботинки на шнурках, — пока француз не обнаруживал грабежей и не открывал

огня по могилам, подвергая своих товарищей вторичному расстрелу, с целью спасти их от наших разбойничьих налетов. Впрочем, и этот огонь заливало дождем. Изредка под вечер показывалось тусклое солнце, оно катилось среди туч, спускалось к горизонту и умирало.

В один из таких вечеров, высунув голову из окопа, я заметил на неприятельской линии двух солдатиков, как и я, искавших спасения от грязи и тоски окопов; разглядев меня, они приветствовали кивком головы. Согласно приказу капитана, нам полагалось стрелять по всякой видимой цели, но... чорт бы побрал капитана, он только и знает, что приказывать да приказывать. Тут мне бросилось в глаза, — и сердце мое дрогнуло, — что оба француза были из 12-го линейного полка.

Чем был для нас мир? Могильным курганом под ноябрьским ливнем. Кто загнал нас в рвы и могилы? Империалисты Парижа, Лондона, Москвы и Берлина. Из-за чего мы воевали? Из-за мирового господства, из-за угля, железа, чужих земель. А в Берлине, Париже, Лондоне и Москве нас уверяли: «решается вопрос о судьбе отечества». Неправда, вопрос решался о тебе и обо мне, о каждом нашем вздохе, о каждом мгновении света или тьмы, о каждом лишнем дне, отвоеванном у смерти. Все это мне стало ясно в тот час, когда я получил привет двух солдатиков 12-го полка.

Смерть не однажды играла со мной, а на этот раз, вылезая из окопа, я сам играл со смертью: я стоял

во весь рост на бруствере, представляя собой видимую цель для неприятельских ружей. Однако ни одного выстрела не последовало. Поручик Бах был в отпуску. Наш Фогеле, — эта хищная птица [1]), сидя в окопе, топил скуку в красном вине. Оба француза, видимо, были удивлены нашим поведением. Немного спустя они рассмеялись и также вылезли из окопа. Мы перебрались через проволочные заграждения и шаг за шагом начали приближаться друг к другу. Мы отдавали себя друг другу в руки. Я отдавал себя на милость французских ружей, французы отдавали себя на милость наших. Кончилось тем, что мы сошлись на нейтральной зоне у воронки, вырытой разорвавшейся гранатой; я как сейчас вижу эту желтую яму, — на дне ее лежал труп.

Один из французов оказался человеком уже в летах, с иссиня-черной бородой на бледном лице, на котором сверкала пара оживленных глаз. Другой был молодой рекрут лет девятнадцати, не старше, белокурый, с голубыми глазами на кротком, почти детском лице.

Все мы были без оружия.

Я протянул руку. Юноша пожал ее, покраснев и смутившись. Его товарищ пристально посмотрел мне в глаза. Это был солдат из старой гвардии, он принимал участие в истории у родника в крушинной за-

---

[1]) Непереводимая игра слов: Фогель (Vogel) по-немецки значит птица.

росли и не забыл ее. Однако же его недоверчивость растаяла, и он кончил тем, что опустил свою руку на наши соединенные руки. Таким образом наши руки были как три огненных языка, слившиеся в одно пламя. Взглянув в эту минуту на французские окопы, я увидел, что много солдат с волнением следят оттуда за нашим братанием. Немало голов поднялось над бруствером и в нашем окопе.

До сих пор мне непонятно, как могло случиться, что наблюдатели у орудий не отдали распоряжения открыть огонь. Ведь мы трое подавали на фронте преопасный сигнал. Не ослепли же дежурившие у гаубиц. Как бы то ни было, мы продолжали стоять у воронки, а орудия молчали. В это время раздался звук человеческого голоса:

— Товарищ! — проговорил младший француз.

— Товарищ, — прошептал и я ему в ответ. Я не решался заговорить громко из опасения сорвать торжественное настроение минуты.

Вслед затем мгновенная дрожь пробежала по нашим членам: до слуха нашего долетел шум от топота шагов, и, осмотревшись, мы заметили, что на обеих сторонах солдаты вылезали из окопов и один за другим спешили к нашей воронке.

Таким образом мы побратались в этот вечер. В продолжение нескольких минут неприятели были нашими дузьями, мы обменивались с ними табаком, хлебом, шоколадом и газетами, дотрагивались один до другого, — словом, на время опять сделались

людьми. Увы, тут же рядом, в воронке, лежал убитый солдат, но о нем мы забыли. Снова забил в лесу источник, снова мир осенил наши души.

Но немного прошло времени, — и нас заставили вспомнить, что война еще не кончена. В окопах забили тревогу. Офицеры неистово забегали по линии. Где-то лопнула ручная граната. Уже стали наводить пулемет. Наконец по направлению к нам вылетела, покачиваясь, первая мина. Тогда мы рассыпались по полю и бросились обратно к нашим позициям. Нам приходилось бежать под огнем, и все же мы чувствовали себя счастливцами; опасность смерти не была в силах погасить ликование, вспыхнувшее в наших сердцах.

Капитан в бешенстве выбежал на позицию. Фельдфебель промчался по линиям с видом собаки, готовой броситься на людей. Огонь был прекращен.

— Вот погодите, — кричал наш Фогеле, — дождитесь только, чтобы нас сменили. Небось вы слыхали, что за штука военно-полевой суд? Может быть, вы воображаете, что мне война доставляет удовольствие, потому что я капитан? Не вечно вам надувать господа бога! Подтянуться! Поняли?

Он был в ужаснейшем возбуждении и казался храбрецом, а на самом деле страшно трусил.

— Трусил? — переспросил Эйзольд, четвертый участник нашего дружеского кружка в окопе. — Но кого же капитан боялся?

— Ну конечно, нас, солдат, дурак, — ответил ему Мунк: — что такое капитан без солдат? Все равно, что повозка без коня.

— Или конь без всадника, — вставил со смехом Эйзольд. Эйзольд был большой охотник поострить и благодаря этой несчастной страсти не всегда умел воздержаться от не совсем удачной остроты.

— Нет, человек без мозгов,—съязвил Мунк, которому было досадно, что его рассказ кончился смехом.

— Мозги без человека, — поправил его Паулус и своей шуткой безнадежно спутал нить рассказа.

Мунк потерял терпение. Он наотрез отказался продолжать, и только на следующий день нам удалось уговорить его окончить свою повесть.

Итак, я продолжаю. В то время Аншперг был в отпуску. Он вернулся в лес уже после нашего злополучного братания. Клингер, ты как будто не больно жалуешь Шварцвальд, а известно ли тебе, что Аншперг родился в Шварцвальде?

Мунк хотел выместить на мне плохие остроты Эйзольда, но я остался невозмутим. Я взял в руки портрет Виктории и сделал ей глазки.

— Это наконец несносно, Клингер. Что ты вечно носишься с портретом? — проворчал Мунк. — И кто тебе позволил? Следовало бы запретить вывешивать в общем окопе возбуждающие картинки.

— Рассказывай же дальше, Мунк, — попросил я, засовывая портрет в карман на груди. — ты прав... Аншперг действительно родился в Шварцвальде.

ИНСТИТУТ КЛАСС. ПРОФЕССУРЫ
№

— Ну, конечно, дурачок, в Шварцвальде, — сказал, Мунк, успокаиваясь, и принялся рассказывать дальше: — Аншперг возвратился из Гельбронна не в духе и первым делом рассказал нам про одного торговца лошадьми, или, точнее сказать, кониной, который, промышляя поставками на армию, пустил в ход крупную фабрику консервов. На третьем году войны он уже разъезжал по городу четверкой, приобрел виллу и сделался заправилой в городской думе.

— Бедненькие лошадки! — перебил его Эйзольд.

— Кто из вас еще раз прервет меня, — вышел из себя Мунк, — чтобы тому целую ночь прошататься в патруле под ливнем, чтоб ему всю жизнь ползать на брюхе и жрать землю!

Выходка Эйзольда рассердила на этот раз и нас с Паулусом; довольно мы ему мешали, нам хотелось, наконец, узнать, чем кончилась история.

— Ну, так смотрите же, чтобы это было в последний раз! — Аншперг, по возвращении, передал нам о своей беседе с русским по имени Кольцовым. Эту беседу я собираюсь занести в мой «Бестиарий». «От самого Гельбронна, — так рассказывал Аншперг, — ехал я до Франкфурта с одним русским военнопленным. Пленный говорил немного по-немецки; его звали Владимир Кольцов, он происходил из Тульской губернии. Он мне рассказывал о Туле, а потом у нас зашел разговор о войне. Перед войной Кольцов побывал у Толстого. Из своей деревни он совершил паломничество в Ясную

Поляну, чтобы повидать знаменитого старика. Он застал его, графа, в простой крестьянской рубахе, за работой в поле. И мне казалось, сам Толстой говорил мне устами Владимира Кольцова: «Милые дети, любите друг друга! В этом первая и единственная заповедь. К чему эта война? Я этого не знаю. И Россия велика, и Германия не мала. Места на земле хватит для всех. Кому придет конец, когда внезапно загрохочут пушки? Россия не погибнет. Германия не погибнет. Все не они, — я погибну, ты погибнешь. Возлюбите друг друга, — сказано в Писании». Тут Аншперг замолчал и задумался. Затем он прибавил: «Видишь ли, Мунк, в этом вся мудрость. А теперь подумай о том, чем была бы Россия, если бы в ней не нашлось столько Кольцовых». «И чем была бы Германия, если бы в ней не было столько Аншпергов», — сказал я.

После этого мы долго рассуждали о понятии отечества, о том, кто является представителем отечества, почему это лицо представляет его и на каком основании такие представители имеют право загнать в кровавое море войны целую нацию из многих миллионов мирно настроенных людей. Мы толковали и о бессмертии народов, продолжающих жить, в то время как отдельные личности погибают. По всем этим вопросам наши взгляды сходились, и только одному мы не находили объяснения: почему люди, которые затевают войну и наживаются на ней, — почему эти люди остаются в тылу, всем командуют,

издают законы, живут в свое удовольствие в полной безопасности, а серая масса неповинного народа бредет по колена в крови и посылается на бойню.

«Если бы ружья имели способность рассуждать, — говорил Аншперг, — они уже давно начали бы стрелять в обратном направлении».

Но ружья не умели рассуждать, и едва Аншперг успел договорить свою мысль, как поднялся вой гонгов. Неприятельский капитан, — я представляю его себе таким, как наш Фогеле: маленьким, толстеньким, с пристрастием к красному вину и несозревшим девочкам, поклонником орденов и всяческих законов, обеспечивающих его благосостояние, — так вот этот французский капитан донес о происходившем братании, и в наказание одна рота 12-го линейного полка была брошена в газовую атаку против наших окопов.

На наше счастье в ту минуту, когда мы выскочили из окопов с противогазовыми масками на лицах, — в них мы были похожи на водолазов, — ветер изменил направление и погнал смертоносные белые облака назад к французской линии. Мы потеряли всего только одного человека, — часового, который, находясь в подкопе, не успел во-время надеть на лицо защитную маску. Санитары отнесли его полузадохшимся на «Мельницу Мертвых», и часовой этот оказался одним из тех крестьянских парней, которые некогда пристрелили пятерых водоносов. И что же? Аншперг, который в то время так возмущался делом этих людей, рано утром побежал на мельницу

и лично настоял на том, чтобы солдата безотлагательно отправили в лазарет. Вот каков был Аншперг!

— Ну, а что же, когда вас сменили, капитан предал вас военному суду? — спросил Паулус.

— Нет, этого-то он и не сделал, — отвечал Мунк.— Да и как же он мог бы это сделать: по его собственным словам, он и без того достаточно надувал господа бога!

— Я слыхал о грандиозных надувательствах, фантастических надувательствах, но о надувательстве господа бога мне что-то не приходилось до сих пор слышать, — заметил Эйзольд, пользуясь случаем вставить острое словцо. — Что же это значит: надуть господа бога, Мунк?

— Это местное выражение, дурак, — ответил Мунк в сердцах и выбежал из окопа.

Уязвленный в своем самолюбии мунковским «Бестиарием», Эйзольд в свою очередь начал собирать по окопам всевозможные надписи и ходкие изречения. Его записная книжка была целиком исписана такими заметками. Книжка Эйзольда утеряна, но две его заметки сохранились у меня в памяти, и я вас познакомлю с ними. Только, если вы хотите правильно понять эти незатейливые стишки, вам нужно постараться перенестись в насыщенную кровью атмосферу блиндированного окопа. Вот одно из этих изречений,— его можно было прочесть в каждом окопе от моря вплоть до Альпов:

Одна всем плата и еда, —
Войну забыли б навсегда.

А вот и другое, — вместе с первым оно сыграло некоторую роль в подготовке социальной, классовой борьбы:

Богатые войною наживают,
Сословье среднее богатым вслед шагает,
А бедняки в могилу угождают.

Эйзольд бегал по окопам, собирая материал для своей коллекции.

После ухода Мунка я сказал Эйзольду:

— Ты заставил Мунка уйти, за это ты сам должен мне что-нибудь рассказать. Открывай же огонь, Эйзольд, да только не промахнись.

— Вы ведь помните родник в крушинной зарослн, — начал Эйзольд. — Там однажды случилась история, которую стоит записать. Нечто подобное я пережил и на вершине Гартмансвейлера. Мы лежали на горе и в ясные зимние дни могли любоваться с высоты Альпами — Монахом и Девой [1]).

— Эти две горы как раз впору одна другой, — пошутил Паулус, раззадоренный вечными остротами товарищей. — Скажи мне, Эйзольд, кто из них появился первый: Монах ли пришел к Деве или Дева к Монаху?

---

[1]) Монах и Дева — перевод названий альпийских вершин: Мёнх и Юнгфрау.

— Монах стоял перед Девой, — улыбаясь, ответил Эйзольд.

— А что сказал Деве Монах? — продолжал Паулус свою шутку.

— Не мешай, Паулус. Вот какой у них произошел разговор, — сказал Эйзольд: — «Видишь ты вершину Гартмансвейлера?» — спросила Дева у Монаха. «Нет, — отвечал Монах, — я вижу одну тебя, о Дева».

— Перестань, дурак, — прервал я его («дурак» было в ту пору нашим любимым словечком), — перестань, Эйзольд, это скучно. Я сам тебе скажу, что случилось после: Дева покраснела; ведь наступил час утренней зари, солнце поднималось из-за гор. Только скажи мне ради всего на свете, какое отношение имеет все это к крушинисй заросли?

— Решительно никакого, — отвечал Эйзольд, — однако вы не даете мне высказаться. Моя история нисколько не хуже любого рассказа Мунка. Но сегодня вы отбили у меня всякую охоту продолжать. Может, я вам расскажу ее в другой раз.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА.

День занимался над разгромленными горами. Мы все еще состояли в рабочей команде. В это утро нам пришлось раскапывать крупный миномет, в который угодила неприятельская граната. На скате горы, повыше минометa, стоял на карауле наш приятель Мунк. На его обязанности лежало предупреждать отряд рабочих пронзительным свистком каждый раз, когда из долины, занятой французами, показывалась, раскачиваясь, выпущенная мина. По данному Мунком сигналу мы стремглав бросались на землю, и чугунные осколки со свистом пронеслись над нами. Впрочем, каждый раз, когда француз выпускал мину, мы и сами слышали легкое хлопанье, похожее на сухой кашель, и нам было видно, как воздушная торпеда поднималась кверху дрожащим полетом, затем она

стремительно падала на нас и разрывалась, разбрасывая пламя.

На место работы мы выступили очень рано: еще стояла глухая ночь. Мы шли, пробираясь по дну лощин, затопленных жидкою грязью. Над фронтом от времени до времени таинственно пролетали белые шары светящихся ядер да ослепительные ракеты с шелковыми парашютами; ветер относил их, и они подолгу парили над окопами, пока не рассыпались звездами. В такие минуты становилось совсем светло; казалось, ночь освещалась шипящими дуговыми фонарями. То там, то здесь раздавался отрывистый лай выстрелов на дозорных постах. Дорогою мы повстречали отряд молодых пионеров, торопившихся на фронт для участия в подземной минной войне. Скоро мы пришли на место работ и в короткое время,— нас было тридцать душ, — откопали нашу мортиру. Среди обломков мы нашли кровавые лоскутья растерзанного мяса, — это было все, что осталось от трех человек, убитых при разрыве гранаты.

Что значил человек на войне? Он был всего-навсего номером, бездушной единицей в холодных выкладках генеральных штабов обеих сторон, рабочим механизмом при орудиях, пока его не уничтожали машины противной стороны.

В конце концов нас отпустили, мы взвалили на плечи рабочий инструмент и тронулись в обратный путь к нашему лагерю, причем на этот раз мы пошли «Галереей Семи Спящих».

В «Галерее Семи Спящих» [1]) мы услышали взрыв. Горы поколебались. Как огромные черные знамена, протянулись над фронтом тучи дыма. Земля дрогнула. И тотчас на горах вспыхнул огонь пулеметов, затрещали ручные гранаты, а вслед за ними послышались глухие удары орудий. Воздух огласился визгом налетавших издалека гранат. Мы попрыгали в первую попавшуюся заброшенную траншею, и уже несколько минут спустя появились первые раненые. Лежа с закрытыми глазами, они со стоном покачивались на носилках санитаров. Какой-то молодой солдат, у которого глаза блуждали как у безумного, с криком промчался мимо нас. Он лишь недавно вышел из детских лет. При взрыве его завалило землей, и еще и сейчас, убегая вдоль траншеи, он ощущал на груди ужасную тяжесть, чувствовал придавившую его черную лапу смерти.

«Галерея Семи Спящих» бежала многочисленными извилинами по старому полю битвы. Теперь оно лежало онемелое перед нами. Здесь целые месяцы продолжалась война в земле, траншейная война, пока атака шлезвигских егерей не продвинула фронт вперед. Здесь же, на этом поле в Аргоннах, были взорваны первые мины настоящей войны, были испробованы первые массовые «вознесения» к небу. В траншеях и завалившихся галереях до сих пор еще

---

[1]) Непереводимая игра слов: Siebenschläfer — соня (порода белок) и в то же время значит — семь спящих.

попадались непогребенные трупы солдат. Окопы осыпались, в галереях бежала вода. Позади, у самой позиции, как кулиса в театре, поднимался лес — мертвый лес, убитый гранатами и минами. И с какой яростью свирепствовали снаряды среди высоких древесных стволов! Белая сердцевина деревьев выступала с жуткою резкостью в тусклом освещении раннего утра. В нем чувствовалось что-то грозное, — в этом лесу с обломанными верхушками, насыщенно резким и приторным могильными запахом тления.

Невдалеке от окопа, где мы нашли себе приют, виднелась огромная воронка от взрыва мины, которой галерея была обязана своим странным названием. На дне воронки лежали семь погибших пионеров — «Большая Медведица». Паулус был очевидцем ужасного взрыва и на обратном пути рассказывал нам, как это произошло. Мунк внес и этот рассказ в свой «Бестиарий». Я передам его вам в том виде, как я его слышал от Паулуса.

— «Вы ведь знаете, — рассказывал Паулус, — я был горнорабочим. В августе я сразу же попал в пионеры и, когда началось наступление, пошел со своей ротой в Бельгию, оттуда во Францию и в конце концов угодил в этот лес, — к шлезвигским егерям. Это было незадолго перед приступом. Мы должны были подготовить и поддержать атаку минными работами. В главной галерее работало семь человек.

Не знаю уж почему, их называли «Большой Медведицей» [1]).

Взрыв был отлично подготовлен, он должен был явиться первым грандиозным «вознесением» в эту войну. Не одну неделю шла ожесточенная подземная война. Мы вели нашу главную галерею под неприятельскую позицию. И тут началась борьба не на жизнь, а на смерть, так как француз в свою очередь тоже выслал вперед своих пионеров. Шла погоня за минутами, даже за секундами.

Кирки приходили в неистовство. Мешки с песком безостановочно пробегали по длинной цепи солдатских рук. От одышки перехватывало дух. Пот, как вода, струился со лба. Мы едва не лишались рассудка в наших темных и холодных галереях и щелях. Все это время нам выдавали по бутылке вина и по две сигары сверх комплекта. В этом отношении мы, специалисты по «вознесениям», были обставлены недурно, и молодые егеря завидовали нашему благополучию.

Вот в том-то и заключается зверство этой войны, что генералы, нисколько не задумываясь, бросают нас в чертов котел и хладнокровно обрекают на смерть. Ведь вопрос просто и грубо сводится к тому, кто раньше взлетит на воздух, — я или противник. Да, если б ружья умели рассуждать! Ведь вы еще не забыли Аншперга?

---

1) Как известно, созвездие Большая Медведица состоит из семи звезд.

Точно так же стоял вопрос и у француза, и он тоже работал, как безумный. Прерывая на минутку работу в галерее, наши семеро могли уловить глухой шум его подземной работы, доносившийся до их слуха сквозь толщу земли. Динамит уже был заложен, и меня с товарищами только что отпустили, как вдруг взорвалась контрмина противника. Семь человек — «Большая Медведица» взлетели на воздух. Случись это двумя минутами раньше, — и я бы вознесся на небо вместе с ним. Теперь же я отделался тем, что был засыпан землей и попал в лазарет, а что было дальше, — вам известно. Штабной врач, который при этом случае перевел меня в пехоту, очевидно желал мне добра. Этот штабной врач, по фамилии Левенштейн, как мне говорили, был известный специалист по женским болезням.

— А кто такие были по ремеслу эти семь человек? — спросил Мунк.

— Трое горнорабочих, два плотника и два каменщика, — ответил Паулус.

— Ну, а почему эта галерея называется «Галереей Семи Спящих»? — поинтересовался Эйзольд.

— Потому что эти семеро там сладко почивают, дурак, — оборвал его Паулус.

Тем временем мы подошли к нашему лагерю. Мы еще долго не расходились, и Мунк рассказывал нам про летнюю кампанию. Его полк все наступал да наступал, все дальше углубляясь во Францию. Уже Верден был затянут серою петлей. Но тут мы

проиграли генеральное сражение на Марне, — и сеть прорвалась.

— В то время начальником эшелона у нас был молодой поручик, — рассказывал Мунк, — поручик Кнейст. Я как сейчас вижу его перед собою. Он был на родине старшим преподавателем и в то же время походил на Зигфрида, — белокурый, с голубыми глазами, и ни один кино-артист не сумел бы хохотать заразительнее его. Будучи германистом, он любил Францию, и именно потому, что любил ее, он был самым рьяным приверженцем наступления. «Марш вперед! — восклицал он, — марш вперед, ребята, к Рождеству мы вернемся домой! Мир мы заключим в Париже, не иначе, как в Париже. И я покажу вам в Лувре Венеру Милосскую».

Эту фразу о Венере Милосской он нам сказал перед началом одной из лесных схваток. Французы принялись стрелять и стали обыскивать лес рядом с нашим расположением. Мне и сейчас слышится грохот залпов, треск ломавшихся деревьев, визг гранатных осколков, хлест отрывающихся веток. В цепи мне пришлось лежать рядом с поручиком.

— «Вперед, на Париж!» — прокричал он и затем, когда огонь на минуту затих, неожиданно запел. В целом получалось впечатление совершенного безумия. Вот тут-то между прочим у меня и родилась мысль о моем «Бестиарии». Лес окутывался дымом, кричали и стонали раненые, а поручик распевал песню. И как вы думаете, что же он пел? А вот слу-

шайте,— он распевал во весь голос: «Пупсик, глаза твои горят!».

Мне хорошо было видно его лицо. Оно страшно побледнело и исказилось. По глазам было видно, что бедняга ужасно трусил. Засвистели первые пули, и затрещал пулемет. А поручик все распевал свою безумную песню.

Затем прозвучал сигнал к атаке.

Кнейст выскочил из лесу впереди всех — и тут же получил свою пулю. В лицо! В правый глаз, в самый глаз, Клингер! Распевал о глазах — и тут же получил пулю в глаз. Уж нет ли в этом какой-нибудь таинственной связи?»

— Значит, ты хочешь сказать, Мунк, — вставил Эйзольд, подхватывая запутанный клубок этой истории, — что пуля попала поручику в глаз именно потому, что он запел песню о глазах? Ну, а что бы случилось, если бы он запел наш национальный гимн?

— Если Эйзольд все время будет вмешиваться, я больше не стану рассказывать, — загремел Мунк, — мы не стадо баранов.

— А почему бы и нет, Мунк, — попробовал отпарировать Эйзольд, сделав вид, что он обиделся, — не будь мы баранами, разве мы позволили бы, чтобы нас гнали на бойню, как телят?

— Бараны, которых ведут на бойню, как телят, это недурно, — вступился я за Мунка, — ты остроумный парень, Эйзольд, только жаль, что ты всегда впутываешься не во-время.

Теперь я раскаиваюсь, что нанес ему этот удар потому что от моих слов Эйзольда передернуло, и он, видимо, был сильно смущен. Впоследствии наступило время, когда мы совсем перестали разговаривать между собою, так как узнали друг друга наизусть, знали наперед всякий вопрос и всякий ответ и взаимно возненавидели один другого. У нас не оставалось никаких тайн друг от друга. Мы соприкасались слишком близко в нашей тесноте.

Я того мнения, что человеку нужно высказываться, когда его сердце полно, и еще того нужнее, когда оно пусто. Речь нам служит вовсе не для одних только взаимных объяснений. Имеют значение не только длинные сердечные излияния, — ценно каждое произнесенное слово, каждый вздох, каждое дыхание. Даже ссоры и споры и те имеют цену, они необходимы, потому что облегчают грудь. Кто мне скажет, что мои рассказы имеют ценность? Главным образом они имеют цену для меня самого, потому что я лично знал людей, которые все это пережили и передавали. Значение этих историй прежде всего в том, что они родились в теплой атмосфере доброй дружбы.

Мне приходит на память кладбище в Аргоннах, где из одной только нашей дивизии погребено шесть тысяч гренадеров. Там среди множества могил была братская могила, в которой после зимнего боя похоронили сто человек, сто безыменных солдат, в виде лоскутьев человеческого мяса. Они были изуродованы до неузнаваемости, и никто не мог назвать их

имена. Какова была их профессия? Для того ли они были рождены сотнею матерей, чтобы кончить жизнь на живодерне! Каковы были их собственные планы, надежды и желания? Может быть, между ними был гений, какие рождаются один раз в сто лет, чтобы подвести человечеству итоги целых поколений в искусстве или науке. На могиле этой сотни людей красовалась доска с жуткой надписью:«Здесь почиют в духе...».

В каком же духе, друзья мои?

Это изречение придумал дивизионный пастор, молившийся за победу оружия и за души убитых и с гордостью нацепивший себе на грудь Железный Крест. Он гордился этой надписью и послал ее своему брату в Берлин. Брат его тоже был пастором. В свою очередь он прислал нам в лес свою последнюю проповедь, в которой тоже заклинал духа.

«Слышите, с каким свистом сечет лезвие меча! — ораторствовал в Берлине служитель бога, — Как он сверкает в сиянии майского утра, добрый немецкий меч, никогда еще не опозоренный, победоносный, благословенный немецкий меч! Бог вложил тебя в наши руки, и мы сжимаем тебя крепко, как невесту! Ты — наш решающий довод. Дорогой меч, на тебе почиет дух, ты не только король ultima ratio [1]), — мы, служители духа, заодно с тобой, как и ты с нами...

---

[1]) Латинское изречение, означающее последний довод, которым решается спор.

Да будет изобильна твоя добыча. Смело губи их всех... Кровь я приму на себя. Опслчись же и рази и казни!..».

Когда брат его прочитал эту протестантскую проповедь войны, ему вспомнилась сотня никсму неведомых солдат в братской могиле, которых он похоронил в духе. И тогда он сорвал с груди военный орден, и по лицу его закапали слезы.

Ночь прошла. В окна заглядывает утро. Я писал целую ночь. И я чувствую, как в мсю душу нисходят спокойствие и мир. Я бежал из больших городов, чтобы найти себя, — и вот, записывая для вас да и для самого себя кое-что из пережитого и продуманного в ужасные годы великой войны, я понемногу опять обретаю себя.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

СРАЖЕНИЕ В АРГОННАХ.

Однако весна решительно вступает в свои права. Лес уже зеленеет. Я сижу на берегу речки, одинокий и все-таки радостный; несмотря на пережитые тяжелые годы, у меня все же светло на душе: теперь уже есть на свете люди, посвященные в мое преступление. Эти люди—это вы, и от вас зависит не сделаться моими соучастниками, когда будут мобилизоваться отряды бомбометателей будущей войны.

Сегодня я заканчиваю мою исповедь.

Мы все еще лежали в старом логовище, когда к нам присоединились егеря. Это были совсем молодые солдаты, и они выпрашивали хлеба. Они были обвешены мешками для песка, совсем так, как это делается во время атаки, когда мешки наполняются ручными гранатами. В нашей роте было много крестьян,

а у этих всегда находилось что подать вечно голодным парням из больших городов.

Раз один из этих егерей забрел в наш окоп.

— Товарищ, — обратился он к Мунку, — дай мне кусок хлеба, а от меня получишь в обмен обойму патронов; они помогут тебе сберечь свою жизнь.

— А патроны рассуждают? — спросил Мунк и, не дождавшись ответа от молодого егеря, прибавил: — Хлеба ты можешь получить, ну, а насчет патронов, нам и своих девать некуда.

Егерь взял хлеб, поблагодарил и ушел.

И эту встречу Мунк записал в своей «Бестиарий», закончив таким нравоучением: «Что важнее: хлеб или патроны? Разумеется, хлеб важнее. Хлеб сохраняет жизнь, а патроны — никогда. Жизнь, которую можно сохранить с помощью патрона, в сущности, какая же это жизнь, раз она идет об руку с убийством?».

— Знаешь, Клингер, — сказал мне Мунк, записав все это в свою книжку, — вчера егеря стащили с какого-то мертвеца башмаки. В эту войну ничто не должно погибать, за исключением людей. Человек пускай себе гниет, ну, а башмаки, чорт возьми, ведь это же государственное достояние.

— Вот еще история для твоего «Бестиария», Мунк,— заметил я, — несколько времени тому назад, когда они готовились к атаке, эти же егеря напились из источника, отравленного мертвыми телами, предпочитая попасть в лазарет и в тифозные бараки чем прогуляться за проволочные заграждения.

— А где этот источник?— спросил Эйзольд, внезапно задумавшись и даже позабыв свои излюбленные каламбуры.

— У «Черной Марии», Эйзольд, — ответил я, — только это ни к чему не приведет: с той самой поры у источника день и ночь дежурят усиленные посты.

Эйзольд грустно вздохнул.

— «Сидел мальчик у источника», — пропел неумолимый Паулус.

— Ты дурак, — выбранил его Мунк.

В тот же вечер к нам пришла весть, что Черногория заключила мир с Германией. Мы опять собрались в окопе, как вдруг к нам ввалился Михель Дамбахер. Этот Дамбахер был парень из крестьян, он работал в имении своего старшего брата, и, естественно, там его эксплоатировали по всем правилам братской любви. Как добрая рабочая лошадь, Дамбахер с трогательным терпением мирился со всем этим, как мирился и с войной. Он горячо верил всем пророчествам, которые в ту пору, как ночные птицы, реяли в атмосфере. Но всего больше он верил тем предсказаниям, о каких ему писали из родного села. Там у них была старуха-ворожея, гадавшая о будущем на кофейной гуще. Обращавшимся к ней старикам и молодым женщинам она уже четыре раза предрекала скорое заключение мира; когда же мир все-таки не наступал, она успокаивала отчаяние деревни новыми предсказаниями в том же роде. Дамбахер часто и подолгу просиживал над чтением своего

молитвенника, что не мешало ему крепче верить в приходившие с родины прорицания, нежели в самого бога и деву Марию.

— Ну, на этот раз уже в самом деле наступает мир, Клингер! — кричал Дамбахер, — то же сказал и новый поручик. Он говорил, мы уже заключили мир с Черногорией. Ну что же, разве не выходит так, как предсказывала баба у нас в селе?

Блеснув на нас большими голубыми глазами, сохранившими еще детское выражение, и не ожидая ответа, он бросился в другие окопы, торопясь распространить по лесу благую весть о мире.

Эту ночь мы провели словно в чаду. Многие были до того потрясены, что и смеялись и плакали в одно и то же время. Эйзольд, который уже стал было смотреть совсем мрачно на вещи, потерял голову от радости и принялся петь. Бук, ополченец, вдруг схватил свой ранец.

— Братцы, — крикнул он. — теперь шабаш! Я ухожу домой. Недаром вчера ночью мне приснилась моя Бабетта.

— А я этого не думаю, — рявкнул Мунк, тем временем окончивший затеянный с Паулусом спор относительно географического положения Черногории. — Нет, я этого не думаю. Это брехня. Такая крохотная страна, притом занятая нашими войсками, как может она по доброй воле заключать мир? Этак и Клингер, Паулус или Эйзольд могли бы в один прекрасный день провозгласить: перемирие, мир,

роспуск по домам! Впрочем, не дальше как завтра утром вы сами увидите; у вас глаза вылезут на лоб от такого мира.

— А с Черногорией все-таки заключен мир. Ведь ты же не оглох, Мунк — кричал Эйзольд.— Мир! Мир! Или этому свинству тянуться без конца, чтобы у тебя было чем заполнить свою книжку, Мунк? Но в таком случае я отказываюсь итти с вами. Я хочу домой.

Его возбуждение росло с каждым словом, и в конце концов он залился слезами.

— Ну да, ну да, — принялся Мунк его успокаивать, — перестань же, Эйзольд, с Черногорией действительно заключен мир. Я этому верю.

— А ты как думаешь, Клингер?—обратился Эйзольд ко мне, глотая слезы.

— Да, несомненно мир будет заключен, — проговорил я уклончиво. Но Эйзольд уловил только одно слово — мир, и оно его успокоило.

Не суждено нам было выспаться в эту ночь.

Еще стояла черная ночь, когда мы вступили в рабочую смену. Буку пришлось распаковать свой ранец; он стоял в строю с угрюмым лицом. Эйзольд лежал в окопе, его била лихорадка. Никогда еще не бывало у нас такого дурного настроения, как в это утро. В только что пережитых грезах над нами витал светлый лик мира, — и как скоро наступило пробуждение! Угрюмыми взглядами встретили мы нового поручика Функе, о котором мне еще придется рассказывать впоследствии.

— Доброго утра, братцы, — обратился к нам поручик Функе, прибывший к нам всего за три дня перед этим, — как вам известно, мы заключили с Черногорией мир. Черногория — небольшая страна на Балканах. Балканы — то место в Европе, где прогремели первые выстрелы в эту войну. И там же теперь стороны обменялись последними пулями. Приостановка военных действий. Возможно, братцы, что и у нас военные действия будут приостановлены. Но до тех пор держите зубы стиснутыми попрежнему. Будьте здоровы, братцы!

Послав нам привет движением руки, он возвратился в свой блиндаж.

— Посмотри, Клингер, — шепнул мне Мунк, — вот в чем заключается ораторское искусство. Ведь что собственно сказал поручик? Что, может быть, и у нас когда-нибудь, и, вероятно, в ближайшем времени, будет заключено перемирие, только всего. А каждый уловил только одно это словечко — перемирие. Вот полюбуйся на них, на это стадо баранов, которые дают себя загонять на бойню, как телят, как при этом случае выразился бы Эйзольд.

Я стал всматриваться в товарищей: не все были удовлетворены, у многих лица пылали ненавистью к войне.

В ближайшие дни мы попали в штурмовой резерв. Начинался бой за «Мертвую Дочь».

Стояла холодная осень. Быстро пролетели красные летние денечки. Нас продвинули в самыепередовые

окопы, присоединив к нам молоденьких солдат из Эльзаса. Штурмовая поклажа была собрана, были написаны последние письма в Германию, последние трогательные письма и приветствия, в которых проскальзывали предчувствия внезапной насильственной смерти.

В ночь перед приступом я написал письмо Виктории, чей облик с каждым днем все ярче сиял в моей душе.

Когда дальнобойная артиллерия открыла огонь, мы уже залегли впереди. Немного спустя забарабанили гаубицы. А затем началось светопреставление. С чудовищным грохотом, казалось, само небо обрушивалось над полем битвы. Облака разрывались. Горы вздрагивали и колебались от безумных взрывов.

Сквозь оглушительный шум бушующего ада прорывался вой дальнобойных орудий. С резким пронзительным ревом бросали они в сражение стаи гранат и на несколько секунд замолкали, поглощая новые заряды. Затем опять возобновлялся невыносимый рев, отдававшийся болью в мозгу, опять хлопали взрывы гранат и с гулом раскатывались над горами. Когда вы закрывали глаза, вам представлялись артиллеристы, бесновавшиеся у орудий. Потеряв человеческий образ, они заряжали, кричали и стреляли, — это были черти, почерневшие от пороховой копоти, они прыгали у чугунных гаубиц, разрушая передовые траншеи.

В галерее «Веселого возвращения на родину» залегла часть седьмой роты. Этой ротой некогда

командовал тот капитан на вороном коне, который однажды мне приснился. В самом начале боя в бетонную галерею ударила летучая мина, частью ослепившая, частью искрошившая шестнадцать человек.

Так началось сражение за «Мертвую Дочь».

Галереи и окопы были расстреляны в короткое время. От бывших здесь рвов сохранились только плоские впадины, наполненные дымом. Земля вопила и жаловалась. Весь мир вопил. И с ним вместе вопияли мертвые.

Впереди других орудий стреляла одна французская гаубица, выплевывавшая гранаты в лицо нашим подбегавшим резервам. Мы окрестили это орудие именем «Лулу». В нашей роте при подходе пало шесть человек. Над бившимся в судорогах полем битвы порхали бесчисленные звездочки снежинок. Снежинки взлетали и плясали в воздухе, кружась в стремительном танце; снег опускался в черную грязь дорог, покрывал мертвецов, ложился белым покровом на горы, пока взрыв гранаты не сгонял его отовсюду — и с дороги, и с гор, и с мертвецов. В котловине, защищенной горами, был устроен перевязочный пункт. При свете дня над ним виднелся уныло повиснувший флаг с красным крестом. Бушевавший в долинах грохот боя сгущался в этом тесном котле и непрерывным громовым раскатом висел над врачами и тащившими больных санитарами, над мертвыми, которые его уже не слышали, и над боязливо вздрагивавшими ранеными.

Дороги — где белые, где черные — были залиты кровью. Все было в крови — руки и лица врачей и раненых, носилки санитаров. Кровь сочилась сквозь перевязки раненых и плотным черным слоем покрывала страшные раны на телах убитых.

Все это продолжалось без перерыва три дня, холодных и сырых, и три жутких ночи. Приступы и оборона, пальба из орудий и рукопашные схватки, взрывы, от которых горы бешено опрокидывались в долины... А орудия ревели не переставая, и огненные вихри проносились над окопами. Под низконависшим небом, над полем битвы рвались шрапнели, сея смерть. И то здесь, то там стукали пулеметы, а на горах, треща, разгорался ружейный огонь.

В стороне от этого ада, в защищенной долине, а также и подальше в тылу — на «Мельнице Мертвых», врачи три дня и три ночи перевязывали и кромсали простреленные солдатские тела. Раненые рычали с землистыми лицами и судорожно стиснутыми руками. Со всех сторон пробирались они под огнем к перевязочному пункту, кто ползком, кто с трудом передвигаясь на ногах. Тяжело раненых санитары вытаскивали из самой гущи боя. Кровь капала, как вода, в черную грязь и на белеющий снег.

Нам довелось стоять под жестоким огнем. Было ощущение, как будто мы уже давно оторвались от земли и витаем где-то в пространстве, в тумане первобытного хасса. Мы были страшно измучены. Мы сами

превратились в землю — черную, желтую, умирающую и убивающую землю.

Немало товарищей погибло под ножами врачей. Врачи тоже витали где-то в пространстве. Лица у них были, точно каменные, когда они перевязывали людей и резали их своими остро отточенными ножами. На снегу, возле перевязочного пункта, лежали трупы солдат, умерших во время операций. Они лежали на земле, вытянувшись по-военному, — бедные пешки бессмысленной игры. Их поблекшие уста, раскрывшиеся от страданий, не сомкнулись и после смерти, носы заострились, щеки впали.

На четвертый день бой захлебнулся в багряном море воцарившейся тишины. Приступ был кончен. В передовых стрелковых окопах залегли усиленные дозоры. Были установлены первые проволочные заграждения. И тела людей и ружья остыли, только пулеметы все еще высматривали для себя пищу и, когда на новых позициях разрывалась с грохотом шальная граната, они принимались сторожко и яростно лаять в ночную темень.

Совсем близехонько перед нашей новой траншеей лежал раненый француз, и не было возможности его спасти. Всю ночь напролет он то стонал, то принимался громко кричать. Все остальные раненые, лежавше перед окопом, уже были на том свете, выпростав из воронок свои измученные тела, перед тем как умолкнуть навеки. Только этот все кричал и звал, а спасти его было невозможно. Неприятельские ружья

открывали огонь по всякой видимой цели. А раненый все кричал да кричал. Эти вопли пронизывали тишину ночи и, казалось, впитывались землею вместе с каплями крови, сочившейся из его ран. Что только не звучало в его стонах — и тоска расставания с родиной, и бешенство отчаяния, и все земное страдание. Нас, пощаженных смертью, знобило от этих воплей, мы затыкали уши, но это не помогало: крики раненого неудержимо проникали в душу.

За три дня боя на нашем участке пало семьсот двенадцать человек. Они падали на землю как пораженные молнией: вскрикнет, вздохнет или захрипит — и всему конец, — и только этот один хрипел нам, живым, в лицо всю адскую муку расставания с жизнью.

— Слышишь? — шептал Мунк, лежавший в окопе рядом со мной, — слышишь, Клингер, как он кричит? Я боюсь, этот крик сведет меня с ума.

— Это вопит весь мир, жалуясь на нас, — прошептал я в ответ. — Один добрый выстрел прикончил бы это мучение.

— Так ты еще не настрелялся, дурак, — сердито возразил мне Мунк. — Мир жалуется на нас! Не думаешь ли ты своим выстрелом прикончить и его вопли? Клингер, я схожу за этим человеком.

— Мунк, — стал я его упрашивать, — милый, дорогой Мунк, ты ведь знаешь, они стреляют в каждого, кто бы ни высунулся из окопа.

— Ты трус, и больше ничего, — ответил Мунк, окинув меня злобным взглядом, — а я все-таки притащу его.

Передав мне ружье, он осторожно переполз через край траншеи. Он уже благополучно перебрался через проволочные заграждения, как вдруг грянул ружейный выстрел.

— Клингер, Клингер, — услышал я жалобный зов. Пуля попала в Мунка.

Тут взлетели светящиеся ракеты. При их призрачном освещении я разглядел Мунка: он лежал рядом с раненым французом, который протянул руки товарищу, пришедшему умереть вместе с ним. Я убивался и рыдал, как ребенок. Паулус явился сменить меня. Поручик Функе старался меня утешить, но я не хотел ничего слышать. Только к утру я несколько успокоился: товарищи втащили к нам двух убитых, — Мунка и француза, который в конце концов перестал вопить.

Сражение кончилось. Мы похоронили наших мертвецов. Кладбище в долине росло до бесконечности. У открытых могил стояла участвовавшая в приступе рота молодых солдат, изнуренных бессонницей и перепачканных в крови. Друзья, которых мы хоронили, представляли из себя кошмарную груду кровавого мяса, изрубленного машинами войны, — жалкие туловища и головы, словно вышедшие из рук палача. Впрочем некоторые остались неизуродованными. Эти лежали на земле с выражением покоя и мира на лицах. Мунк и француз были в числе последних.

Три братские могилы приняли товарищей. Мунка с французом мы положили в отдельную могилу.

Паулус приготовил для могилы большую деревянную доску, а Эйзольд изобразил на ней нетвердым почерком: «Здесь покоятся германский солдат Мунк и француз из 3-го полка».

Не могу забыть множества серенъких птичек, чирикавших вокруг открытых могил. Орудия молчали. Выдался мягкий декабрьский денек, в мглистом воздухе носились предчувствия грядущих месяцев весны. Денек был бодрящий, несмотря на соседство мертвецов. И как раз в этот день нас отпустили наконец на отдых.

Серенькие птички еще долго чирикали на кладбище, затем вдруг застукали гранаты, и летучая мина жадно ворвалась в сельский пейзаж. Но мы уже маршировали из «Леса мертвых», направляясь к спокойным равнинам. Свое ружье я оставил в окопе. Я взял с собой ружье Мунка, то ружье, которое начало рассуждать в ту ночь, когда умирающий вопил перед окопом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

ВИКТОРИЯ.

Полученный от Виктории ответ на мое письмо не особенно меня утешил, но все же я решил посетить ее во время моего отпуска. Поручик Функе проводил отпуск в Гельбронне в одно время со мной. Он немножко напоминал поручика Кнейста, о котором рассказывал покойный Мунк, тоже был блондин с голубыми глазами, любил музыку, сочинял небольшие стихотворения, был в приятельских отношениях с Аншпергом, а также был знаком и с Викторией. Обо всем этом я в то время еще ничего не знал, мне рассказала Виктория в последний вечер, когда мы с ней гуляли на берегу Неккара и когда все уже было порешено между нами.

Виктория, ютившаяся в одном из средневековых домов на главной улице, уже ожидала меня в тесной

комнатке под самою крышей. Она протянула мне руку. Меня никогда не интересовало, кто была ее мать. Может быть ее матерью была та дама с кротким выражением лица, которая створила мне дверь. Этого я не знаю. Меня интересовала сама девушка, а не ее родня.

— Господин Клингер, — спросила Виктория, когда мы поздоровались, — вы приехали сюда все из того ужасного леса?

— Все из того леса, — повторил я за ней, счастливый, что имею случай произнести те же слова, какие проговорила она, — но я приехал за живой жизнью; я приехал к вам, Виктория.

— За живой жизнью? — сказала она с усталою улыбкой. — В таком случае вы не туда попали, господин Клингер. Я до сих пор ни о чем другом не могу думать, кроме вашего ужасного леса с его мертвецами. Ведь вы вышли из могилы, господин Клингер.

— Да нет же, я пришел к вам, — возражал я, — я пришел к тебе, Виктория! Когда рвутся гранаты, я ношу ваш образ в своем сердце. Вот здесь, смотрите (и я выхватил ее фотографию из кармана на груди), этот портрет я получил от вашего брата в его последний час. Ведь брат ваш умер у меня на руках. Смерть меня щадит ради этого портрета, Виктория!

— Нет, нет, — вскричала она, отмахиваясь руками, — я совсем не хочу присутствовать на войне; не согласна, чтобы и портрет мой был там! Отдайте мне его назад! Я не хочу, не хочу, ни за что!

Когда я, скрепя сердце, хотел ей отдать портрет раздался звонок. Виктория торопливо вышла из комнаты и стала отпирать дверь. Вздохнув с облегчением, я спрятал фотографию в карман. Виктория вернулась с поручиком Функе.

— А у меня есть гость, господин поручик, — заговорила она. — Господин Клингер, друг моего брата. Поручик Функе тоже из вашего ужасного леса. — И она представила мне поручика.

— Да я же знаю его, — рассмеялся поручик, — это Клингер из моей роты. Итак, Клингер, — повернулся он в мою сторону, — вы тоже в Гельбронне?

В окопе у меня было мало общего с поручиком Функе. Конечно, мы знали друг друга, но мы, солдаты, не стояли с ним на товарищеской ноге, как с Аншпергом. И теперь я вдруг возненавидел поручика, который был на ты с Викторией и даже и здесь хотел воспользоваться преимуществами своего положения, чтобы сделать меня смешным в ее глазах и втирался между мной и Викторией, сестрой моего любимого друга.

— Да, — отвечал я, — как видите, господин поручик. И вы тоже в Гельбронне?

Поручик сверкнул на меня глазами.

Но Виктория поспешила встать между нами.

— Я уже говорила тебе, Альфред, — заметила она поручику, — я не люблю этого начальственного тона. Прошу не забывать, что господин Клингер мой гость.

Сердце мое ликовало, когда девушка за меня вступилась. Мысленно я падал на колени перед Викторией.

— Виктория, — отвечал поручик, — я говорю вовсе не как поручик. Ты же отлично знаешь все оттенки моего голоса.

— Это правда, — сказала она, — но дело в том, что твой голос изменился с тех пор, как ты в лесу.

— Нет, ты переменилась, — возразил поручик.

— Я очень рад видеть вас здесь, — обратился поручик ко мне, — но, может быть, в данную минуту у вас найдется какое-нибудь другое занятие?

— Нет, господин поручик, — ответил я, — сейчас у меня нет никакого другого занятия. Ведь вы слышали, я здесь в гостях.

— Совершенно верно, — вскричала Виктория, бросив на меня благодарный взгляд, — он здесь гость. Его прислал мой брат, и я тоже его приглашала. А тебя я не приглашала, Альфред. Мне больше не хочется тебя видеть, а ты все возвращаешься и мучаешь меня.

Она начала тихонько плакать. Поручик беспомощно пожал плечами, — и это был тот же жест, какой я подметил в лесу у пионера, когда Виктория приезжала за телом брата. Затем поручик отвесил девушке поклон и вышел из комнаты, не сказав ни слова.

Успокоившись, Виктория заговорила:

— Господин Клингер, мне очень жаль, что все это произошло в вашем присутствии. И все-таки я вам

благодарна за то, что вы остались. Я ненавижу поручика, который был моим другом детства, а теперь преследует меня своей любовью. Своей любовью! Да, а в лесу он распоряжается атаксй и велит стрелять! Я решительно не могу с этим мириться. Люди являются прямо с убийства и, едва успевши смыть кровь со своих рук, объявляют: «Я люблю тебя!» Почему же они не скажут «я люблю тебя» французам, русским и англичанам?

— Нет, однажды мы сказали французам «я люблю тебя», — возразил я и тут же рассказал о сцене братания в лесу, об источнике в крушинной зарослн, о последнем сражении, о смерти Мунка и о его «Бестиарии». Виктория слушала, широко раскрыв глаза. Мне было слышно, как шибко билось ее сердце.

— Так вот, — вырвалось у нее, — вот какова она, эта хваленая война! Она убивает самое чувство человечности. Благодарю вас, господин Клингер, и завидую вашему другу Мунку за его прекрасную могилу. Рано или поздно, а его пример должен увлечь других солдат.

— «Если б ружья могли рассуждать», — так любил говорить ваш брат, — сказал я, — но они еще не научились рассуждать. Они все еще стреляют не туда, куда нужно.

— Не туда, куда нужно? — переспросила Виктория.

— Да, — сказал я, — им бы следовало стрелять в подстрекателей к войне, в империалистов Лондона,

Парижа, Берлина и Москвы. В таком случае на земле скоро водворился бы мир.

— Как ужасно устроен свет, — взволновалась девушка, — многие миллионы людей стоят одни против других, черные, белые и желтые люди, — и рвут друг друга на части для того, чтобы со временем на земле опять установился мир. И господь бог все это видит с неба и допускает. Этот удивительный бог смотрит на все спокойно, слышит, как народы-хищники молятся о победе, — и не шевельнет пальцем! А служители его благословляют оружие. Улавливаете ли вы в этом какой-нибудь смысл, господин Клингер?

— Нет, — отозвался я, — я тоже тут ничего не пойму.

— А если так, то как же можете вы жить там среди мертвецов? — спросила девушка.

— Я и не живу, Виктория, — сказал я, — мое сердце не знает, что творит моя рука. Когда-нибудь да наступит же мир!

— «Если б ружья стали стрелять в обратную сторону»! Слышите вы голос моего брата из могилы, господин Клингер?

— Я слышу его, — воскликнул я, — я его слышу, и я люблю тебя, Виктория, я люблю тебя!

Огонь пробежал по моим жилам. Я был, как в тумане, и плохо сознавал, что говорю. Выбежав из комнаты, я, как безумный, устремился на берег Неккара. Только добежав до реки, я немного пришел в себя.

Мне всегда казалось, что когда человек приходит в отчаяние, ему следует поверить свое горе природе, раскрыть душу прохладной речке, зеленеющей роще, траве, цветам, прекрасным облакам. Природа всегда смягчает нашу скорбь; мы слышим голос великой матери, призывающей нас к себе. Нет такой скорби, которая не смягчилась бы под открытым небом.

Воды Неккара быстро бежали мимо. На горы, казалось, был наброшен бархатный ковер. Вечные звезды, блистая, спокойно плыли в мировых пространствах. И сердце мое мало-по-малу начинало биться ровнее. На знамени моего сердца было начертано сияющими буквами одно слово — «Виктория».

Из Гельбронна я поехал в свой родной город. Уже много лет я не виделся с сестрой. Родителей моих уже давно не было на свете. С Метой, — так звали мою сестру, — меня связывали не только таинственные узы крови, у нас были и общие духовные интересы: мы оба любили музыку и живопись стараясь облагородить нашу однообразную трудовую жизнь переживанием великих произведений искусства. В прошлые годы, стоя у станка, я вспоминал скульптуру греков, думал о старых великих мастерах, а также о пламенных апостолах, один за другим пытавшихся перестроить мир, превратив бесплодное сожительство тысяч людей в плодотворное сотрудничество, и в творческом экстазе опережавших жизнь человечества на целые века.

Моя сестра Мета тоже любила прекрасное. Она работала в книжном магазине. Через ее руки проходили ежедневно хорошие книги, хорошие эстампы, а подчас попадалсь и выдающееся произведение искусства. Погруженная в море красоты, она забывала и войну, и бедствия, переживаемые родиной.

Уже были зажжены вечерние огни, когда я приехал в город. У вокзала меня остановила какая-то молодая девушка. В то время по вечерам немало девушек подкарауливало у вокзалов отпускных солдат, предлагая им свое тело в обмен на краюху хлеба.

Но дело в том, что девушка, приставшая ко мне на слабо освещенной улице, была моя сестра Мета...

С первым обратным поездом я возвратился в Гельбронн.

На следующий день я еще раз навестил Викторию. Теперь ведь она заменила мне ту добрую несчастную сестру, которую я потерял навсегда, которая так любила прекрасное и потому именно — это старо, как мир,— с такою легкостью позволила себя обольстить. Обольстить и затем бросить.

— Господин Клингер, — сказала Виктория, прогуливаясь со мной на берегу Неккара в последний вечер, — я все думаю о вашей сестре. Что же она сказала, когда вы узнали ее?

— Она ничего не сказала, — отвечал я, — она принялась вопить и стонать, как тот раненый перед окопами, которого Мунк хотел спасти.

— А как зовут того, который растоптал Мету? — спросила девушка.

— Я не знаю, — был мой ответ.

— А я это знаю! — крикнула Виктория.— Я знаю этого людоеда. Имя ему — война! Она разрешает убийство и оправдывает все злодеяния. Да будет проклята война!

Глаза ее разгорелись.

— Да, — проговорил я, — война войне.

Между тем в городе зазвонили колокола.

— Колокола звонят во всякое время, — печально продолжала Виктория, — и когда с фронта приходит весть о победе, и по воскресеньям, когда пастор молится об успехе оружия, — все время звонит множество колоколов. Но самый большой колокол перестал звонить.

— Почему же большой колокол перестал звонить? — спросил я.

— Они переплавили его в пушку, — воскликнула девушка, — в пушку, и теперь он изрыгает свое «На земле мир» в лицо французам либо русским.

— Ну, а как поручик Функе?

— Ах, забудьте вы про поручика Функе, — вскричала она с досадой, и я радовался, что ее прекрасное сердце не принадлежит поручику. — Поручик Функе был нашим другом, господин Клингер, — продолжала Виктория, — уже семь лет как мы с ним познакомились. Но теперь я его не выношу: ведь и к его рукам пристала кровь.

— А меня, Виктория? — спросил я робко.

— Вы невинны, — сказала она, — вы берегли лесной источник, вы были готовы спасти брата с той стороны, — мой брат вас любил. И я тоже вас люблю, — бедные солдаты!

Она взяла мою мозолистую руку и стала ее поглаживать. Сердце во мне замерло под ее лаской. Мы долго молчали. Затем я произнес сквозь слезы:

— Виктория, твой портрет красовался в нашей траншее. Он был у меня на груди, когда мы шли на приступ. Тебя все любят, и я тоже люблю тебя, Виктория!

— Господин Клингер, — ответила девушка в смущении, — вы мне дороги, я хотела бы быть вам сестрой, добрым другом, но вы должны знать, что моя любовь принадлежит умершему брату, принадлежит всем солдатам на войне. Моей любовью располагает всякий, кто находится под выстрелами.

— Дорогая, — взмолился я и горячо ее обнял, — дорогая, ты хочешь заменить мне сестру. Ее сожрала война, этот людоед. И в меня ведь стреляют, Виктория, так ты и меня любишь? Любишь ты меня?

Я слышал, как сильно забилось ее сердце.

И я принялся целовать Викторию.

Я ссыпал поцелуями ее белое лицо, ее узкие руки, душистые волосы, осыпал несчетными, ненасытными поцелуями. Она отдавалась во власть этому бурному порыву с тихой ласковой покорностью молодой женщины, безграничная дружба которой, пожалуй, еще прекраснее любви.

Когда я несколько пришел в себя, Виктория заговорила:

— Господин Клингер, на всех нас лежит ответственность за эту войну. И я не без вины. Сегодня вы уезжаете назад в ужасный лес. Вот почему я вам позволила себя целовать. Только поэтому... А теперь желаю вам всего хорошего. Вспоминайте Викторию Аншперг и возвращайтесь поскорее невредимым на родину.

Она протянула мне свою белую руку и торопливо удалилась.

Я еще долго оставался на берегу и не мог опомниться.

В ночь я уехал обратно в лес.

Когда я вернулся в окоп, меня позвал поручик Функе.

— Клингер, — спросил меня поручик, — вы еще раз приезжали в Гельбронн?

— Да, господин поручик, — отвечал я.

— И вы очень любите эту девушку? — допытывался он.

— Господин поручик, — таков был мой ответ, — как солдат я на службе обязан вам повиноваться, но вместе с тем я остаюсь человеком, и моя личная жизнь касается меня одного.

Поручик был смущен. Овладев собой, он улыбнулся.

— Ведь и я человек, Клингер, — сказал он, помолчав немного, — и у меня бьется сердце в груди. Я желаю вам всего, всего наилучшего, Клингер.

— Благодарю вас, господин поручик, — ответил я.

— Вы были дружны с Аншпергом? — снова спросил поручик.

— Да, мы были добрые друзья.

— Вы знаете его словечко: «если бы ружья могли рассуждать»? — спросил поручик Функе.

— Я знаю это словечко, — сказал я. — Думаете ли вы, господин поручик, что когда-нибудь дойдет до этого?

— Да, я думаю, — отвечал поручик, и выражение лица его сделалось очень серьезным. — Если человек разучился думать, то бездушной стали приходится думать за него.

— И чем же все это кончится? — спросил я.

— Ужасами, Клингер, ужасами, — ствечал поручик и в волнении принялся ходить взад и вперед по блиндажу. Вдруг он остановился передо мной и многозначительно посмотрел мне в глаза.

— Прошу вас, простите мне наше столкновение в Гельбронне, — проговорил он быстро. — У меня было тяжело на сердце, и потому мне захотелось вас унизить. Можете ли вы меня простить?

— Да, — сказал я, хлопнув по его протянутой руке.

После этого я простился и, вернувшись к себе, рассказал Паулусу и Эйзольду о моем разговоре с поручиком.

— Сталь начнет думать? — воскликнул Паулус, презрительно расхохотавшись. — Она уже начала

думать. Не дальше, как вчера, наши гаубицы опять взяли слишком близко и ранили троих из нашей роты.

— Ты дурак, Паулус, — заметил Эйзольд, — Функ имел в виду совсем не то. Но я думаю, было бы всего лучше, чтобы рассуждать принялись мы сами. Как тебе кажется, Клингер?

— Ну, разумеется, это было бы лучше всего, — ответил я, вспомнив Викторию.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

НА ВЫСОТАХ.

Пролежав два года в Аргоннах, мы приняли участие в сражении под Верденом, а оттуда нас перебросили в Эльзас. Здесь нам пришлось залечь на долгие месяцы на высотах Гартмансвейлеркопфа. За эту гору разразились кровопролитнейшие бои. Позиции тянулись по взорванной гранитной скале, глубоко врезавшись в камень. Вокруг горы клубились тучи. Нередко мы оказывались выше облаков, и тогда широкая равнина, расстилавшаяся внизу, представлялась нам волнующимся морем.

Нам удалось овладеть горой ценою невероятных жертв. Бой за новую позицию! Первая траншея закладывалась в самую ночь приступа. Ломы бешено стучали по камню. Над облаками боевого чада, как белые цветы, реяли ракеты. Смерть выглядывала

отовсюду, сметала все живое в артиллерийских атаках, жутко завывала в налетавших издалека гранатах. А работа все продолжалась своим чередом. Кровь выступала из-под ногтей у работавших солдат, когда батальону наконец удалось укрыться в землю. Были сооружены галереи и блиндажи, проложены и укреплены новые траншеи, были доставлены мины, установлены пулеметы. И вот, началась война на высоте тысячи метров. Зимняя война. С горы солдатам были видны серебряные вершины Швейцарии. Оттуда же они видели благодатную плоскость страны с синеющими островками лесов. На горе они пережили весну и лето, осень и зиму. Летом им случалось стоять под грозой и бурей, под ливнем, а зимой приходилось раскапывать снега, чтобы выйти из блиндажа.

Мы пришли на гору как раз в достопамятные дни Стокгольма. Конференция социалистов всех стран должна была вернуть блага мира измученным народам. В России царь был свергнут, и над затмившейся Европой загоралась заря великой революции.

Какой трепет, какая лихорадка охватили нас в эти дни!

Война погрузилась в сон. Золотая равнина Эльзаса мерцала в горячих лучах летнего солнца. Шварцвальд приветливо улыбался, окутанный синею дымкой. Вдали отчетливо поднимался стройный силуэт Страсбургского Мюнстера. Можно было разглядеть и Альпы.

В эти дни я был отправлен в небольшой эльзасский городок для изучения световой сигнализации. Там

я свел знакомство с ополченцем — скотопромышленником Моисеем Зинцгеймером. Это был еврей с большими коровьими глазами, в которых выражалась тихая покорность. Однако он всеми силами старался скрыть мягкость своего характера, отважно отражая насмешки солдат, в христианском самомнении смотревших на него свысока. Зинцгеймер состоял сторожем в одном из тех многочисленных концентрационных лагерей, в которых румыны умирали, как мухи.

В первый же день нашего знакомства он подарил мне яйцо. По тому времени это была драгоценность, и я чувствовал себя обязанным ему за этот подарок. Зинцгеймер скоро это смекнул и рассказал мне свою биографию.

— Мне сорок четыре года, Клингер, — начал он, — и сегодня как раз исполнилось двадцать шесть лет с того дня, когда я занялся торговлею скотом, имея в кармане ровно шесть талеров. И вот теперь Зинцгеймер сделался человеком. Ты видишь меня простым ополченцем, а ведь у меня свой двор и в коровнике до сотни голов скота. Для того чтобы подняться так высоко, мне пришлось изучить людей, необходимо было разгадать упрямое лукавство мужика, его крупные и мелкие уловки и надувательства, но дело в том, что за две тысячи лет изгнания наше племя перемололось на мельнице судьбы. О, мы превратились в тончайшую муку, между тем как остальные народы остались грубым зерном. Я вижу людей

насквозь с их хитростью и вероломством, с их трусливостью, скупостью, я знаю их лживость и непроходимую глупость. Клингер, ты не можешь себе представить, до чего люди глупы. Малое дитя может водить их на веревочке.

— Ну, это и я знаю, — заметил я, — это можно видеть ежеминутно. Недаром я солдат.

— Нет, ты послушай дальше, — продолжал Зингеймер, — я вижу, и ты понимаешь этих тупоголовых скотов. Во время закупок мне не раз приходилось сталкиваться с моим приятелем Зильберштерном, — другим скотопромышленником нашего округа. И вот, в течение дня мы всячески старались перехитрить друг друга, мы держали себя в деле, как немец с французом на войне, а по вечерам мы опять сходились самыми лучшими приятелями. В гостиницах мы частенько подолгу не засыпали, споря о разных разностях. Нужно тебе сказать, Зильберштерн был социалист, и я никак не мог этого понять. Заработать побольше денег — вот был мой социализм. Добрая голова рабочего скота была мне дороже Маркса или Энгельса.

Богач-скотопромышленник в затасканном мундире ополченца вдруг замолчал, задумавшись. Вероятно, он вспомнил ночные споры, и широкий рот его подергивался.

— Таким образом, Клингер, — продолжал он, — мы беседовали без конца об обновлении мира, разговаривали, разумеется, вполголоса, чтобы не мешать

спать соседям. И ведь, пожалуй, Зильберштерн был прав со своими теориями. «Знаешь ли, Моисей, — часто говаривал он, — ты, как тупой бык, который ничего знать не хочет до тех пор, пока не увидит обуха, занесенного над его головой». Он говорил правду, этот Зильберштерн: вот теперь, угодив на войну, я попал под обух, как он мне и предсказывал.

И он жалобно взглянул на меня своими коровьими глазами. В это время проходил офицер, и Зинцгеймер торопливо приложил загрубелую руку к козырьку своей непомерно маленькой фуражки.

— Ты заметил, — произнес он после этого с торжеством, — с каким уничтожающим презрением я поклонился этому офицеру?

В продолжение многих вечеров мы прогуливались с ним по улицам города, и я выслушивал рассказы о его похождениях с мужиками, о Зильберштерне с его социализмом. Когда нам встречались офицеры, Зинцгеймер козырял им с «уничтожающим презрением», а я задумывался о судьбе этих двух людей, которым в их молодые годы также являлась звезда нового мира. Они беседовали о нем по ночам втихомолку, но все-таки случалось, голоса их повышались и они приподнимались на горячих костелях, причем в их кожаных кошелях гремело серебро.

После этих вечерних прогулок я вскоре возвратился на нашу гору. Невидимая стена павших товарищей превышала ее в тысячу раз, но, несмотря на то, в дни Стокгольма над окопами витала надежда на мир.

В чудные летние дни не раздавалось ни одного выстрела. Разве только изредка ночью грохнет ручная граната дозорного, не доверяющего торжественной тишине, и многоголосое эхо прокатит этот сиротливый звук над спящими во мраке долинами.

Однажды, когда Паулус был в дозоре, какой-то француз бросил к нам в окоп газету. Паулус поднял газету, высунул из окопа голову и громко крикнул во французскую линию:

— Стокгольм!

Там у них тоже вынырнула на секунду чья-то голова.

— Oui! Oui, Stokholm! [1]) — ответил неприятельский солдат и засмеялся.

Не раз и нам и французам случалось работать над проволочными заграждениями, — и опять-таки не раздавалось ни одного выстрела.

После одной из подобных ночей мы решили завязать еще более тесную связь с товарищами на той стороне, объяснившись с ними посредством письма. Набросать это послание было поручено Паулусу. Он обратился ко мне за советом.

— Человек божий, — сказал я, — напиши, что наши собратья уже в Стокгольме, что в России революция, что мы ожидаем от французов почина. Напиши: мы ждем с нетерпением перемирия и мира. Прибавь еще: пускай они ответят и пусть больше не стреляют.

---

[1]) Да! Да! Стокгольм!

Да не забудь, Паулус, вставить словцо о ружьях, которые наконец начинают рассуждать.

Паулус написал письмо. Но никто из нас не знал по-французски. А разберут ли они там по-немецки?

— Ты беседовал с поручиком Функе, — сказал Паулус, — не согласится ли он перевести наше письмо?

— Я против этого, — вмешался Эйзольд, — я не очень полагаюсь на поручика Функе. А ты как думаешь, Клингер?

— Я тоже против этого, — сказал я, — в ту пору устами поручика Функе говорил Аншперг. Однако как же нам быть?

— А не сделать ли нам так, — отвечал Эйзольд: — перед войной я был в Риме и научился по-итальянски. По-итальянски они там, пожалуй, поймут.

И вот было решено написать письмо по-итальянски с тем, чтобы следующей ночью патрульные передали его по назначению из рук в руки.

Эйзольд уселся за стол и перевел письмо «К товарищам по ту сторону».

В ближайшую ночь я попросился у поручика Функе в разведку. Поручик был удивлен.

— Почему же нет, если это доставит вам удовольствие, Клингер, — сказал он, — только мне всегда казалось, что стрельба уже перестала вас забавлять.

— Это совершенно верно, — отвечал я, — но мы хотим прогуляться не ради стрельбы: нам хочется разведать, по какой причине у них перестали стрелять.

— Ну, хорошо, — согласился поручик, — ступайте с Паулусом и Эйзольдом и возвращайтесь благополучно назад. Не стрелять, если в этом не будет безусловной необходимости.

Поручик пожал мне руку, и мы вышли из окопов. Дозорные были предупреждены. Еще минута — и проволочные заграждения остались позади нас.

Стояла теплая, светлая летняя ночь. Внизу, в долинах, леса были погружены в сон. Над созревающими полями стоял запах хлеба. И в эту ночь, как всегда, в передовых окопах стояли дозоры, протянувшиеся бесконечной цепью от моря до Швейцарских гор; люди мечтали о мире, о возвращении на родину или же стреляли, шли в атаку и умирали. На нашей горе товарищи, сидя в блиндажах, писали письма, играли в карты, толковали о женах и детях или болтали о скотине, о податях, о видах на урожай. И в долине попрежнему стояли при орудиях часовые, наблюдая за световыми сигналами на фронте.

Но над горой взошла звезда мира: растянувшись на земле в нейтральной зоне с письмом к товарищам противной стороны в кармане, мы медленно подползали к ним по каменистому полю.

Два народа лежали лицом к лицу, глубоко зарывшись в землю. Позади каждого стонала родина, истекая кровью. В лабораториях обеих стран ученые химики, не отрываясь, сидели за работой, выдумывая новые газы, — один страшнее другого. Инженеры изготовляли орудия, пулеметы и груды бомб. Весь

прогресс, вся наука и все знание служили смерти, — свелись к науке убийства, к технике убийства.

Над горой ухо улавливало дыхание ночи.

Мы продолжали ползти.

По нашим расчетам мы уже приближались к французскому посту. Мы решили тихонько окликнуть часового, перебросить ему письмо и затем вернуться на нашу позицию. Там я бы доложил: «Перед окопами ничего нового, господин поручик». Таков был наш план действий. Мы уже начали перерезать проволочное заграждение неприятеля.

Влево от меня лежал Паулус. Эйзольд прикрывал правый фланг. Торжественно было у нас на душе. Ведь наша разведка не была выступлением против жизни, напротив, мы выступали за мир, за жизнь. Как бы обрадовала Мунка наша затея! Да и Аншперг улыбнулся бы и Виктория тоже.

И вдруг — о ужас! — в трех шагах перед собой я разглядел француза-часового, альпийского стрелка, внимательно и сторожко наблюдавшего за нами. Что нам было делать? Мысль работала с молниеносной быстротой. Не крикнуть ли «товарищ» или «Стокгольм»? Нельзя: могли бы услышать в нашем окопе. Часового заметили и Паулус с Эйзольдом. Они тоже не решались заговорить. И таким образом в эту ночь мы одну минутку пролежали молча друг против друга, — трое германских солдат и один француз; лицо его, освещенное полной луной, белело, как у призрака. Ах, почему людям необходимы

слова, чтобы понять друг друга! Нам нельзя было подать голос, нельзя было произнести ни слова. И тут стряслась беда.

Мы все еще лежали, растянувшись на поляне, как вдруг альпийский стрелок пригнулся к земле и кинул в нас ручную гранату. Ему ведь не могло притти в голову, что он видит перед собой вестников жизни. Подле нас брызнуло пламя.

Я вскочил, споткнулся, упал и скатился в ров, запутавшись в колючей проволоке. На лице я почувствовал теплую кровь. Осколок разорвавшейся гранаты сорвал у меня лоскут кожи на голове.

Что же касается Паулуса и Эйзольда, то, когда вспыхнуло пламя, они отскочили огромными прыжками назад и укрылись в одной из воронок, проделанных в большом количестве взрывами гранат. Сонный фронт разом проснулся. Взвились световые сигналы и светящие ракеты. Пошли взрываться мины. Залаяли выстрелы дозоров. Затрещали пулеметы. Рев вспыхнувшего боя поднялся к звездам.

Я лежал, притаившись в своем рву; однако альпийский стрелок открыл мое убежище и стал стрелять из револьвера вдоль рва. Его выстрелы отрывисто хлопали совсем близко от меня. В эту минуту я потерял сознание.

Когда я после этого очнулся, надо мной на фоне неба вырисовывалась чья-то темная фигура. Я был уверен, что это не мог быть никто иной, как альпийский стрелок. И в тот же миг я совершенно успокоился.

Залпы затихли. Итак, дело было кончено: я был в плену. Я увижу другие места во Франции, еще не опустошенные войной, — увижу, что́ там, на той стороне. Мне была дарована жизнь. Я удостоился милости. «Виктория, — пело в восторге мое сердце, — знай, Виктория, мы еще раз пытались уберечь святой источник. Знай, Виктория, ружья уже начали рассуждать!».

Я взглянул еще раз на темную фигуру, наклонившуюся над краем рва, и что же?.. на звездном небе вырисовывался облик Эйзольда.

Грезы мигом рассеялись. Виктория отлетела прочь...

Воспользовавшись передышкой в стрельбе, Эйзольд выбрался из своей воронки и принялся меня искать. Он думал, что я погиб. Он видел, как блеснул огонь и я покатился в ров. Немало народа было перебито на глазах Эйзольда, зрелище смерти было для него привычным делом, но письмо! Ему нужно было отобрать письмо. Он искал письмо и нашел меня...

— Это ты, Эйзольд, это ты ?— прошептал я, когда темная фигура наклонилась над рвом. — Где Паулус?

— Молчи, ни звука,—шепнул Эйзольд в ответ.— Так ты жив? А мы приготовились к самому худшему. Молчать, ни слова больше. Паулус цел. Я спускаюсь к тебе — только тихонько, тихонько...

Эйзольд сполз в ров и освободил меня из завитков проволоки. Затем без малейшего шума мы выкараб-

кались на волю. Тут опять внезапно затрещали гранаты. Фронт засверкал пламенем из множества орудийных жерл. Под дождем снарядов, при ослепительном свете ракет помчались мы что было мочи к нашим окопам. Но на беду паника охватила и наши линии. Дозорные потеряли голову и с перепугу принялись палить в ночную темень. Запыхавшись, мы бросились на землю и лежали под перекрестным огнем с обеих линий.

В эту минуту из нашего окопа донесся голос поручика Функе.

— Стойте, стойте, вы сошли с ума! — кричал поручик.— Ведь Клингер и Эйзольд еще там, перед окопами.

Огонь был прекращен. Отыскав лазейку в проволочном заграждении, мы доползли до нашего окопа. Там нас уже поджидал наш поручик вместе с Паулусом. Паулус тоже был легко ранен. Поддерживаемый Эйзольдом и поручиком, я добрел, пошатываясь, до санитара Геберле, по ремеслу ювелира; он смыл кровь с моего лица и наложил первую перевязку.

— Клингер, — сказал мне поручик, когда мне вернули человеческий образ, — ну, что вам принесла эта проклятая разведка?

— Две недели лазарета, господин поручик, — ответил я с удовлетворением.

Я возвратил письмо Эйзольду, после чего санитары проводили нас с Паулусом к доктору Пиритцу. батальонному врачу. Сделав нам предохранительную прививку от столбняка, доктор предложил нам папи-

рос. Это был просвещенный господин, в высокой степени гуманный и обходительный.

— Закурите же, — говорил он с улыбкой. — Огня я вам не предлагаю: его вы имели вдоволь там впереди, неправда ли? Вам повезло, — поздравляю. Однакоже через две недели вам придется опять возвратиться в окопы.

И он иронически усмехнулся.

Для нас приготовили носилки. Без сомнения, мы могли передвигаться на собственных ногах, но доктор сказал нам:

— Ложитесь, ложитесь: не всякий день вас будут носить на руках.

Тогда мы улеглись на просторных холстах, примиренные с судьбой, с удовольствием выслушивая слова участия, — и нас понесли под гору. Снова над нами засияло небо, усеянное звездами. Скоро зашумели свежие неповрежденные леса. Снизу, с полей и лугов далекой равнины, веяло освежающими ароматами.

Ранним утром нас отвезли в лазарет на автомобиле для раненых. Наши повреждения оказались легкими поверхностными ранами. За две недели мы совсем оправились. В лазарете мы провели чудные дни. Когда нам разрешили вставать, мы бродили по городу, много читали и вели споры с молодым врачом, который очень обо мне заботился и снабжал меня свежими газетами.

Едва мы успели вернуться на наши высоты, как пришла весть о срыве стокгольмской конференции. В тот же день мы получили по Железному Кресту.

В приказе по батальону значилось: «За смелую разведку неприятельских позиций». Капитан был в отпуску. Ротой командовал поручик Функе.

— Слушайте, Клингер, Эйзольд и Паулус, — обратился к нам поручик. — Железный Крест вам пожалован за разведку. В сущности ваша разведка была большой нелепостью; с самой той поры и у нас на горе опять начался сущий ад. Ну, желаю вам вернуться домой благополучно и в самом близком будущем.

— Разведка вовсе не была нелепостью, господин поручик, — возразил я (нас собрали в блиндаже поручика). — Быть может, впоследствии я когда-нибудь расскажу вам о ней подробнее. А домой уж мы вернемся благополучно!

Когда мы собрались уходить, поручик задержал меня:

— Я сразу же подумал,—сказал он,—что за этой разведкой крылось что-то другое. Ведь вы вовсе не так уж сильно рвались в бой. Ну, что у вас там за тайна?

— Ружья начинают рассуждать, господин поручик, — был мой ответ.

— Прекрасно, я не хочу ничего больше знать по этому поводу. Только скажите мне еще вот что: почему вы знаете, что вернетесь с войны благополучно? — спросил поручик.

С минуту я помолчал. Затем произнес всего одно слово. Я сказал:

— Виктория.

Поручик не стал расспрашивать дальше.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

НА ТОЙ СТОРОНЕ.

В один прекрасный осенний день передо мной внезапно встала в окопе фигура альпийского стрелка. Оторопев от неожиданности, я схватился за ружье. Француз усмехнулся.

— Только не стрелять, — произнес он на чистом немецком языке, — довольно мы втирали очки, будет. Больше я не желаю.

— Голубчик, — ответил я пораженный, — но как же ты пробрался сюда? Ведь я не брежу?

— Разумеется, нет, — возразил француз, — но я акробат. Меня зовут Пьер Дюмон.

— Клингер,—отрекомендовался я в свою очередь.

И мы оба рассмеялись.

В эту минуту по окопу случайно проходил Паулус.

— Братец, — обратился я к нему, — а у нас гость. Господину Пьеру Дюмону захотелось во что

бы то ни стало в наш лагерь для пленных. Смени меня, пожалуйста. Мне нужно представить господина Дюмона нашему поручику.

Мне и по сию пору непонятно, каким образом Дюмону удалось добраться незаметно до самого нашего окопа. Не бесплотный же дух он был в самом деле, этот альпийский стрелок! Паулус уставился на нас, не будучи в состоянии промолвить слова от изумления, но все же он меня сменил, и я потащил француза к поручику.

— У нас гости, господин поручик, — доложил я. — Позвольте вас познакомить. Господин поручик Функе, господин Пьер Дюмон, человек с той стороны.

Поручик был поражен еще сильнее Паулуса; все же в ответ на мое комическое представление он поклонился и заговорил по-французски.

— Господин поручик, — сказал альпийский стрелок, — я отлично говорю по-немецки.

— Что это, шутка? — спросил поручик. — Кто же вы такой в конце концов? Клингер, что это за человек?

— Я альпийский стрелок Дюмон, Пьер Дюмон, с вашего разрешения, господин поручик, — ответил незнакомец, — я был не в силах дольше оставаться там. Я сказал себе: «Пьер, мир так прекрасен. Почему ты должен во что бы то ни стало добиваться братской могилы?» Нет, подумал я, ведь и немцы тоже люди. Я успел узнать их еще перед началом великой войны. Не довольно ли, думалось мне, если на семью пало по одному человеку.

— Шарль? — спросил я.

— Верно, Шарль, — воскликнул француз, — но откуда можете вы знать про Шарля? Он пал еще в первый бой.

— Знаю, — ствечал я, — в Аргоннах, в крушинной заросли.

— У источника? — спросил поручик, которому тоже была известна история с водонссами.

— Ну да, — сказал я.

— Camarade [1]), — обратился ко мне Дюмон, — долго ли еще я буду иметь удовольствие состоять вашим пленником?

— К сожалению, нет, — ответил за меня поручик. — Однако я должен донести о вас в батальон. По всей вероятности, вы попадете в какой-нибудь лагерь.

— Минуту, господин поручик, — вмешался я, — это ведь именно наша рота стреляла тогда в водонссов Это проделали парни из Шварцвальда. Надо постараться, чтобы господин Дюмон не поминал нас лихом. Не закурите ли, товарищ?

— Очень охотно, — отвечал альпийский стрелок, — благодарю, товарищ. Нельзя рассматривать войну только с точки зрения морали. Конечно, нельзя. Единица всегда приносится в жертву. Взгляните хоть бы на меня. Нет сомнения, — я перебежчик, и мой капитан обесславит меня как труса. В этом

---

[1]) Товарищ.

я нимало не сомневаюсь. Но что такое трусость? Я не так смотрю на трусость, как мой капитан. Разве не больше трусости пойти в солдаты и повиноваться всем приказам, нежели поплыть против течения, повинуясь только своему сердцу? Вот когда я буду стоять перед офицерами из вашей контр-разведки, тогда я буду отважен. Своих товарищей я не предам.

Поручик был в великодушном настроении.

— О нет, — заметил он, — этого вы не сделаете, если бы даже от вас потребовали. Это было бы гнусно. Значит, и у вас ружья начинают рассуждать?

— Ружья рассуждают? — переспросил француз и задумался. — Это остроумно сказано, господин поручик. А пока что начинают рассуждать иные из товарищей. Иначе я бы сюда не пришел.

— К сожалению, о вашем необычайном визите мне придется донести в батальон, — повторил поручик Функе. — Я рад вашему приходу. Желаю вам всего хорошего в ближайшем будущем в Германии.

— Благодарю вас, — отвечал альпийский стрелок. — Впрочем, я на этот счет не питаю никаких иллюзий. Ваши лагери для пленных точно так же незавидны, как и наши. Кто проводит меня в батальон?

— Клингер сходит с вами, да, пожалуй, и Эйзольд. Есть у вас охота, Клингер? — обратился поручик ко мне.

— С величайшим удовольствием, господин поручик, — отозвался я, — сейчас я кликну Эйзольда.

Я позвал Эйзольда.

— Подтяните пояса и зарядите ружья, — приказал поручик, состроив озабоченное лицо. — Так предписывает наш устав, — заметил он вскользь французу. — Я мог бы торжественно объявить вас своим пленником: по праву войны и так далее, — но все это вздор. Затем, будьте здоровы, господин Дюмон. Желаю вам, чтобы время не тянулось для вас слишком медленно и чтобы опыт с моими земляками не показался вам чересчур печальным.

— Желаю и вам доброго здоровья, господин поручик, — отвечал француз.

Между тем в траншее поднялось сильное волнение. Дамбахер, само собой, поднял на ноги все блиндажи, и товарищи провожали нас изумленными взглядами, когда мы проходили из берлоги поручика. Бук подошел к нам и поднес пленнику пачку папирос. Дюмон поблагодарил по-немецки, что доставило ему огромный успех. В конце концов мы тронулись дальше.

— Скажите, моего брата похоронили в крушинной заросли? — поинтересовался пленный, немного помолчав.

— Да, — отвечал я, — вместе с Клодом Тиллье, Андре Бланом и еще двумя товарищами. Они погибли в начале осени.

— Их гибель — дело нашей роты, — негодовал Эйзольд, — они пали от руки наших мужичков из Шварцвальда.

— На то и война, camarade, — обратился француз к Эйзольду и затем продолжал: — Я знавал

и Клода Тиллье. Мой брат Шарль и Клод были добры
друзья. Мы жили в Лионе. Не взыщите, если я буду
грустен и неразговорчив в вашем обществе: сейча
я впервые узнал достоверно, что Шарль убит. Рот
показала его пропавшим без вести и только в следую
щем году включила его в списки павших, но я вс
еще не терял надежды.

Мы помолчали.

— Аргонны, — сказал француз немного спустя, —
самый окаянный лес на моей родине. Верденские лес
да Аргонны! Там вся земля удобрена нашей кровью
Там роса на лесных травах — человеческая кровь

— Ты знаешь Аргонны? — спросил Эйзольд.

— Еще бы мне не знать их! — вырвалось у плен
ника: — На «Мертвой Дочери» околел перед окопами
мой лучший друг, и нам нельзя было его спасти.

— Не случилось ли это одиннадцатого декабря
бою за «Мертвую Дочь», — спросил я, затаив дыхание.

— Это было одиннадцатого декабря, — сказал
француз, — орудийный бой продолжался три дня
и три ночи. На четвертый день позиция была взята
приступом.

— Братец, — сказал я, — мы ходили на этот
приступ... Человек перед окопами был твой приятель!
Так слушай же: ночью его хотел спасти Мунк, — это
был мой приятель, — и приэтом Мунк погиб.

— Мы проклинали сержанта, — крикнул альпий-
ский стрелок, — живодера окаянного, который в ту
минуту выстрелил. Нам было хорошо видно, как

солдат показался из вашей траншеи, мы притаили дыхание и не стали стрелять. Я и сам два раза вылезал из окопа под вашим огнем, но все было напрасно. От одной мысли околеть можно! Ну, чего можно добиться человечностью в клетке с хищными зверями? Разве могут противники вступать в какие-нибудь соглашения в то время, когда говорят орудия? Нет, из этого никогда ничего не выходит! Ведь вот, например, летом на горе само собой установилось перемирие, а от вас пришла разведка и перерезала наши заграждения.

— Ах, ты, дурак, — крикнул Эйзольд, — ведь это же были мы! Мы приходили к вам с письмом. А какой-то сумасшедший бросил в нас ручную гранату!

— Этот дурак был я, — сказал альпийский стрелок с тихим смехом. — Почем я мог знать, что вы приходите с письмом? С таким же успехом вы могли оказаться огнеметателями. С тех пор я больше не бросал гранат, — это была последняя. А что, кто-нибудь из вас погиб?

— Нет, — сказал я, — за это дело мы были награждены двумя неделями лазарета и получили по ордену.

— Стало быть, я же имею право вас поздравить? — сказал француз, протягивая нам руку.

— Сделай одолжение, — засмеялся Эйзольд.

— Случается тебе еще вспоминать про «Мертвую Дочь»? — спросил я француза.

— То и дело, — ответил тот, — мне и сейчас слышится голос моего приятеля, каким он тогда-вопил всю ночь. У нас был капитан, маленький и толстенький, он любил красное вино и хорошеньких женщин и умел во-время исчезнуть, когда завязывалось дело. Его любимыми словами было: «Лицом к врагу». У него были все ордена и знаки отличия, а теперь он представлен к Почетному Легиону. Он из Лиона, у него шелкопрядильня.

— «Лицом к врагу»? — переспросил я пораженный. — Это изречение мне хорошо знакомо. Ты изображал своего капитана, а я узнавал в твоем портрете нашего. Да нет, это невозможно. «Лицом к врагу»?

— Ну да, «лицом к врагу», — отвечал альпийский стрелок. — Я знаю, и у вас и у нас один и тот же обман, даже и выражения те же, — те же выражения, те же пузаны и та же беднота. А что хотел сказать ваш monsieur [1]) поручик своими ружьями, которые рассуждают?

— А то, что давно пора кончать, — ответил я.

— Давно пора, — подтвердил и пленник.

В батальонном штабе альпийского стрелка опрашивали в продолжение получаса. После этого нам поручили отвести его в бригаду.

— И по этой части у вас те же порядки, что и у нас, — говорил француз, иронически усмехаясь. —

---

[1]) Господин.

Эти господа сидят себе мягко и тепло в тылу и организуют. Это значит приказывают: лицом к врагу! Там сидел некий monsieur Бах, — так ему, этому идиоту, хотелось выведать у меня военные секреты: местонахождение наших гаубиц и минометов. Как будто я явился за тем, чтобы подставить моих братьев под ваши гранаты.

Наконец мы добрались до бригады. Простившись сердечно с Пьером Дюмоном, мы отправились обратно в нашу траншею.

— А ведь, пожалуй, и мы не могли бы выдумать ничего умнее, как познакомиться с порядками у неприятеля, как это сделал альпийский стрелок, — задумчиво спросил у меня Эйзольд. — Как ты думаешь, Клингер?

— Право, не знаю, — был мой ответ, — может быть, так бы и следовало поступить. Так или иначе, а должен же когда-нибудь наступить мир. Народы должны подняться на свою защиту!

— Ну, да, до последней капли крови, и конской и человеческой, — иронизировал Эйзольд.

После этого мы уже недолго пробыли на горе. В один из самых последних дней пал мушкетер Валькер, который от времени до времени также принимал участие в наших дружеских беседах. Валькер явился из совсем иного мира, он был купец и превращал в деньги те товары, что мы вырабатывали на машинах. Возьмем для примера фотографический аппарат. Для Валькера это был предмет, который можно

выгодно продать, — и только. Священный труд создания, приложенный к этому аппарату, был чужд Валькеру. Для него не существовало ничего кроме товаров — хороших товаров, плохих товаров, кроме выгоды и барыша. Нам с Валькером было нелегко понимать друг друга, но несмотря на это он любил участвовать в наших беседах, и мы его не отталкивали. И вот он-то пал. Его хоронили накануне нашей смены.

— Клингер, — сказал мне поручик, — вы были с Валькером дружнее всех. Если у вас есть охота, не скажете ли несколько слов у его могилы?

— Очень охотно, господин поручик, если только мне дадут говорить так, как я хочу, — был мой ответ.

— Говорите, что вам подсказывает сердце, — сказал поручик.

Мы собрались на кладбище, устроенном в прекрасном культурном саду у подножия горы. Тесную могилу обступила многочисленная толпа товарищей. Из расположенного в долине города были вызваны музыканты. Глядя на это кладбище, становилось прямо смешно вспоминать наши кладбища в Аргоннах.

Музыканты начали старинным хоралом; звуки его торжественно разносились в неповрежденном лесу. Поручик Функе сказал несколько слов от имени роты, затем еще раз сыграла музыка, и я выступил вперед, приблизившись к краю могилы

— Товарищи, — начал я, — сегодня нам опять пришлось собраться у раскрытой могилы. Пал наш друг Валькер. Кто знает, сколько солдат в это час падает и умирает на бесчисленных фронтах. Закрыв глаза, мы можем себе представить все могилы во Франции, в Германии, в России, в Турции и на Балканах, — все могилы, у которых в одно время с нами толпятся солдаты, предавая земле своих братьев. Европа — одна сплошная живодерня, на которой гибнет человечество. Мы не проклинаем солдата, застрелившего нашего друга; если уж кого-нибудь предавать проклятию, так это войну, бросившую нас на поля сражения, где мы околеваем. И те, кто на той стороне защищает свое отечество, и мы, пусть все дадут у раскрытой могилы торжественный обет...

Дальше мне не дали говорить. Поручик слушал меня с возрастающим изумлением. Верно, ружьям следовало научиться рассуждать, да только в блиндаже с глазу на глаз, а не под открытым небом. Поручик что-то сказал вполголоса фельдфебелю. Тот кивнул головой, подбежал к музыкантам — к злополучным трубачам, которым приходилось играть каждый раз, когда кто-нибудь умирал на нашем участке. Эти ополченцы подняли кверху свои флейты и тромбоны и с ревом ворвались в мою речь. Я все-таки собирался продолжать, но поручик махнул мне рукой. Я отступил от могилы. Погребение было окончено.

— Клингер, — говорил поручик, когда мы возвращались на позицию, — что за чепуху вы им разводили. Такие разговоры хороши в блиндаже, но не среди белого дня. Человек божий, разве вы не знакомы с военным уставом? Пусть я ничего не слышал, но если дойдет до капитана, вам не сдобровать.

— Господин поручик, — отвечал я, — я знаю военный устав, да только я думал, и вы стоите за то, чтобы ружья рассуждали. А уж раз они начали рассуждать, они рассуждают вслух.

— Все это так, — сказал поручик, взглянув на меня не без смущения, — но в таком случае приходится принять на себя все последствия.

— Это я знаю, — произнес я в ответ.

Поручик отошел. Подошел фельдфебель Гюбнер.

— Ты с ума сошел, — заметил он, — держи язык за зубами. Здесь в лесу и деревья имеют уши. Или тебе захотелось в штурмовой батальон?

Фельдфебель отошел. Подошел Паулус.

— Клингер, — сказал Паулус, — знаешь, почему ты так много разговариваешь? — Потому что пришло время.

— Какое время? — спросил я.

— Ружья начали рассуждать, — твердо ответил Паулус.

На следующий день нас отпустили с горы. Мы снова отправились во Францию, — и черный Аргонский лес еще раз принял нас в свои объятия.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

НА «МЕЛЬНИЦЕ МЕРТВЫХ».

Итак, мы снова лежали в лесу. Изо дня в день шел дождь. Эйзольд не вернулся из отпуска. Возвращаясь на фронт через Брюссель, он попал на поезд, перевозивший новых рекрутов, и вместе с ними был направлен под огонь англичан, попал в плен и угодил на остров Мэн. На острове Эйзольд скончался от тифа и тоски по родине.

Все это происходило в последнюю зиму войны. Мы уже давно отказались от надежд на роспуск по домам и на близость мира. Попрежнему мы лежали в грязи окопов, попрежнему ходили в атаки и умирали. Тиф прошелся по лесу, проредив полки. Наш фельдфебель Гюбнер, сражавшийся еще в Юго-западной Африке, при рубке деревьев с отчаяния всадил себе топор в левую ногу и вернулся в Германию. Поручик Бах был убит.

Еще раз проревел в лесу зимний бой. Адское, дьявольское ожесточение войны все возрастало. В Шампани отряды гигантских танков прорвали наши изнуренные ряды. В тылу среди белого дня реяли аэропланы, сбрасывая бомбы.

По окончании зимнего боя нас перевели в лесной лагерь по соседству с «Мельницей Мертвых». Нам пришлось держать караулы у мельницы. Жалкие клетушки и чуланчики покинутого строения были битком набиты пострадавшими от газов и тяжело ранеными. От ужаснейших операций ручейки алой крови сбегали в черный мельничный пруд. Это здание было настоящим домом мучений, полным стонов и воплей.

В первую ночь на караул у мельницы стали мы с Паулусом. Поручик Функе проверял посты. В черневшем лесу что-то вздыхало. Столбы света из окопов терялись во мраке. Временами с мельницы доносились отрывистые вскрики — не то крики, не то вздохи, словно из застенка.

— Я больше не могу, — говорил Паулус, — ты слышишь, как стонет злополучное людское стадо? Они покорно околевают, потому что генералы приказали: «лицом к врагу!», оглушенные грохотом чудовищной машины войны, этой проклятой машины!..

— Что же ты можешь сделать? — спросил я. — Что можешь ты сделать один против чудовища? Оно ведь сожрет тебя, Паулус, оно переломает тебе ребра. И кому же ты этим поможешь? Или ты веришь в силу единичного примера?

— Да, я верю в единичный пример,—сказал Паулус, — верю в исход моей великолепной попытки. Если это будет игра со смертью, то на этот раз будет игра за жизнь. Самое трудное — решиться. Остальное, Клингер, детская игра. Если уж мне нужно умереть, так по крайней мере я умру так, как мне нравится, и тогда, когда я сам захочу. Но пока что мне хочется жить. Ведь необязательно, чтобы дело кончилось пулей.

— Что же ты собираешься сделать? — повторил я свой вопрос.

— Ты это очень скоро увидишь, мой друг, — отвечал Паулус.

В это время подошел поручик Функе. Только теперь я соображаю, что в эту ночь и на следующее утро ужас нарастал, как снежная лавина, и неумолимо требовал тяжелой жертвы.

— Клингер, — спросил поручик, — получали вы еще вести от Виктории?

— Да, — сказал я, — она мне писала с полгода тому назад. Она собиралась поступить в сестры.

— Это мне известно, — продолжал поручик, — она уже поступила. Вся ее любовь принадлежала солдатам на театре войны. Я получил весть о Виктории, Клингер.

— В самом деле? — прошептал я. — И добрую весть, господин поручик?

— Клингер, — сказал поручик, многозначительно на меня взглянув, — Виктория умерла.

— Виктория, — простонал я, — Виктория...

— Возьмите себя в руки, — утешал меня поручик, — вы ведь знаете, я тоже любил Викторию.

— Да нет же, нет, — крикнул я во весь голос, — я не хочу, я не могу больше. Война — людоед! Я кончаю...

— Виктория умерла! — прошептал Паулус. — Да, уж пора, давно пора. Я больше не желаю.

Поручик Функе пожал мне руку. Рука его была влажна и холодна.

Вскоре после этого нас сменили.

— Пойдем со мной, — сказал мне Паулус, — я покажу тебе застенок.

Мы пошли на «Мельницу Мертвых», прошли по всем помещениям, заглянули в каждый чуланчик, видели вздувшиеся тела отравленных газами, страшные язвы тяжело раненых, восковые лица умерших, желтые маски тифозных больных. Мы слушали, как стонет и жалуется человечество.

— Ну, так как же? — спрашивал Паулус, когда мы вышли обратно в лес. — Ну, так как же, Клингер? Желаешь ты и дальше быть соучастником?

— Нет, — крикнул я, — нет! Но научи меня, что делать.

— Что тебе делать, Клингер? — повторил Паулус мой вопрос и пожал плечами.

В своем сердце я слышал только одно слово. Сердце стонало: «Виктория!»

На следующее утро мы уходили наконец на отдых.

Рота уже стояла наготове перед мельницей, когда

появился капитан. Увидав капитана, Паулус вышел из строя и направился к нему.

— Господин капитан, — проговорил он, — прикажите меня увести: я отказываюсь продолжать. У меня нет больше охоты. Вы меня понимаете, капитан?

Капитан лишился языка.

— У вас больше нет охоты? — спросил он наконец.—А мне, вы полагаете, любезный, эта история доставляет удовольствие? Да кто вы собственно такой?

— Мушкетер Паулус, кавалер Железного Креста, шестой роты, — отрапортовал Паулус по-военному.

— Ну-с так у вас больше нет охоты? — спросил капитан с иронией.

— Точно так, господин капитан, у меня нет больше охоты, — еще раз повторил Паулус.

Рота начинала волноваться. Солдаты перешептывались, наклонив друг к другу головы. Бук спустил с плеч свой ранец. Дамбахер сверкал на капитана своими большими глазами. Было одно из тех редкостных мгновений, когда безумный пример одного отчаянного может увлечь за собой сотню людей.

Капитан слышал, как потрескивает зажигательная нитка.

— Поручик Функе, — взревел капитан, — этот человек из вашего взвода. Распорядитесь, чтобы его увели. Я передам дело военно-полевому суду.

— Военному суду? — в свою очередь крикнул Паулус. — Зачем же военному? Я ведь стою не за войну, а за мир, ты, хромой пес!

Теперь уж вся рота смеялась. Капитан оторопел. Поручик Функе стоял рядом с Паулусом.

— Что ты осмелился сказать своему капитану? — воскликнул оскорбленный. — Хромой пес? Ах, ты, желторотый рекрут! Вот тебе за твоего хромого пса! — И он нанес Паулусу удар хлыстом.

Паулус стоял неподвижно с восковым лицом, как у мертвого. Он уже давно овладел собой; однако, получив удар хлыстом, он вздрогнул, мигом приложился и выстрелил.

Капитан остался невредим: в последнее мгновение поручик Функе бросился к Паулусу и успел отвести ружье.

Все это разыгралось в несколько мгновений — вопросы с той и другой стороны, бранное слово, удар хлыста и выстрел. Поручик дрожал всем телом. Рота стояла в оцепенении. С мельницы прибежали санитары и врачи. Лицо капитана было бледнее мела. Паулус стоял с лицом, как у покойника.

— Увести, — проговорил капитан беззвучным голосом.

Дамбахер с одним из ополченцев увели Паулуса.

«Следуй за своим другом», — подсказывало мне сердце, но я оказался трусом и предоставил делу итти свои чередом.

После этого мы двинулись из лесу. Это был чрезвычайно печальный переход. За всю дорогу никто не произнес ни одного слова. Шли без песен. Как будто на похороны.

Паулуса предали военно-полевому суду, и дело было решено в семьдесят два часа. Я тоже был вызван свидетелем и в своем показании старался объяснить выстрел Паулуса ударом капитанского хлыста; начал было рассказывать, как мы провели ночь на «Мельнице Мертвых», но председательствовавший на военно-полевом суде прикрикнул на меня, сказав, что это не относится к делу, что я должен рассказывать только о выстреле. После этого я отказался от дальнейших объяснений.

Наш поручик геройски боролся за жизнь мушкетера Паулуса. Подхватив мое показание, он набросал блестящее психологическое изображение ночи, проведенной нами среди отравленных газами и тяжело раненых. Он сделал попытку объяснить выстрел бредовыми представлениями, горячо нападал на капитана с его хлыстом и ходатайствовал о признании смягчающих обстоятельств. Но все было напрасно.

За эту смелую защиту поручик Функе был перемещен после приговора в штурмовой полк.

Говорил и Паулус.

— Я не отрицаю, — заявил он спокойным голосом, — не отрицаю того, что я выстрелил. Недаром меня выучили стрелять. Капитан оскорбил меня ударом хлыста. Хотя я и ношу мундир, все же я человек, а не лошадь. Перед тем как капитан меня ударил, мне вспомнилось его любимое словечко: «Лицом к врагу!» И вот, господа, я стоял лицом к врагу, а в таком положении, как гласит устав, солдат дол-

жен стрелять. Я и выстрелил. Господа, у вас власть над жизнью и смертью, и вы уже немало людей приговорили к смерти. Но пуля меня не пугает. Почему мне больше бояться пули из немецкого ружья, чем французской пули? Я не испугаюсь, если вы приговорите меня к смерти. Но сами вы берегитесь: ружья начинают рассуждать!

Паулус был присужден к смерти.

На следующее утро его расстреляли.

После выступления на военно-полевом суде я схватил тяжелую нервную горячку. Мне удалось вернуться в Германию. Оправившись после болезни, я побывал в Гельбронне. Первым делом я отправился к дому, где некогда жила Виктория. Долго стоял я перед домом, вспоминая каждое слово, каким мы обменялись с девушкой. Я смотрел на вырезной чердак. В ее окошках отражалось солнце. В последний раз я взошел по лестнице наверх и, как встарь, постучался в ее дверь. Мне отперла незнакомая женщина.

— Фрейлейн [1]) Аншперг дома? — спросил я, хотя и знал, что ее уже давно нет в живых.

— Нет, — ответила незнакомка, — фрейлейн Аншперг нет дома. Аншперги уже два года, как выехали, и три месяца тому назад фрейлейн Аншперг умерла в Сербии.

Она захлопнула дверь, и мне казалось, что захлопнулась гробовая крышка. Еще раз спустился я к Нек-

---

[1]) Барышня.

кару и стал искать на песке следы ног Виктории, но за последние годы много тысяч чужих ног прошло по песку и затоптало ее следы. Зато в моей памяти сохранился каждый жест Виктории, каждое ее слово. Она не умерла: она жила во мне.

Тут вдруг я вспомнил, что Аншперг погребен в Гельбронне. Я отправился на кладбище и отыскал его могилу. Скорбь снова овладела мной, и я простонал: «Ах, почему я не пал в Аргоннах! Теперь мне было бы так покойно лежать в братской могиле. Я так горячо любил тебя, Виктория!»

Со временем и эта скорбь затихла.

Потом мы дожили до провала на полях битв. Мы приветствовали его как начало германской революции. Как я горел, в какой лихорадке прожил эти месяцы! Теперь я знаю, — это горели и лихорадили мои раны. Ведь каждое красное знамя было выкрашено в крови миллионов людей, павших в те ужасные годы. Там была между прочим и ваша кровь, Аншперг, Мунк, Паулус, Эйзольд и Виктория! Но со временем и этот багрянец погас.

Я бежал из больших городов, превратился в бродягу, проводил дни, лежа на лугах и в лесах, и вместе с птичками грезил о странах Юга. Я увидел мощь и красоту моря. И наша общая мать, прекрасная, дикая и в то же время ласковая, — земля, постепенно залечила мои раны. Теперь я могу думать без боли о моих друзьях и о Виктории. Сестру Мету я больше не видел...

Я пролежал весь день на весенней зелени луга и писал. Сегодня же отправляюсь в дорогу. Последний мой привет вы получите из большого города, в котором, я уверен, мы с вами встретимся.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

МЫ ВСТРЕЧАЕМСЯ.

Незадолго до 1 мая вернулся я в родной город. Я разыскал приятелей, и мы долго сидели вместе, вспоминая прошлое. В городе встретился я и с бывшим поручиком Функе. Посыпались вопросы. «А помнишь ты?»... «Да, тогда на Мельнице Мертвых»... Вспоминали мы и Аншперга, вспомнили Паулуса и Мунка.

— Клингер, — говорил Функе, — теперь я сделался книгопродавцем. Думая о последних годах войны, я не могу не признать, что Паулус был самым искренним человеком среди нас. Ты знаешь, после приговора я попал в штурмовую роту. Там уже на третий день стала мучить тоска по родине. Видишь ли, все мы тысячу раз проклинали войну, но мы чесали языки — и только, а Паулус вышел из строя и отказался продолжать. Он сам пожертвовал собой. Вот

в этом-то и заключается разница: ведь нас приносили в жертву.

— Мунк тоже пожертвовал собой, — возразил я. — А помнишь ты «Мертвую Дочь» и человека, стонавшего перед окопами?

— До сих пор я иногда слышу во сне его вопли, — отвечал Функе. — А Мунк!? Я часто думаю об этом, Клингер. И теперь я себя спрашиваю: неужели человечество уже успело забыть войну? Посмотри на них, на этих глупцов, как они кричат о новых свалках. Это же безумие! И вот возникает вопрос: почему и до сих пор еще народы предпочитают столковываться на языке бомб и гранат?

— Ты говоришь: народы, — прервал я его: — Функе, народы так или иначе сумели бы сговориться по-братски, если бы не ненасытные хищнические инстинкты вождей. Посмотри, как в своей собственной стране высший класс вооружается против рабочих. Не быть миру, пока человек эксплоатируется человеком. Само собой, это можно сказать и о народах.

— Может быть, ты и прав, — говорил Функе, — нет, ты прав без сомнения, Клингер. Только, — и он окинул взглядом зеленеющую ниву, причем уста его дрогнули, — только должно ли это продолжаться? Взгляни, как прекрасна земля! Повсюду красота и мир! Распускаются цветы. Зеленеют леса, и на полях вырастает хлеб. Хлеб и красота! Для всех, Клингер, для всех! А ты не забыл? Завтра 1 мая!

— Об этом я помню, — отвечал я, — но

сердце мое все еще в странствии. Я думаю о Виктории...

Наконец сорвалось с языка слово, лежавшее у каждого из нас на душе.

— Виктория! — воскликнул Функе. — Да, Виктория. Но известно ли тебе, что Виктория значит победа? Видишь, она пережила свою могилу. Итак, Клингер, пусть Виктория будет нашим лозунгом.

— Виктория! — крикнул я тоже. — Виктория бедному угнетенному человечеству!

— А завтра 1 мая, — повторил Функе.

Мы попрощались, и я бродил еще часок по городу. На главной улице я увидел пожилого человека в одежде Христа; он продавал тоненькие брошюрки, в пламенных выражениях предрекавшие скорый конец старому миру. Медленно прохаживаясь взад и вперед, незнакомец с ребяческим изумлением всматривался в полную движения городскую жизнь. От времени до времени он продавал по книжечке. Немало прохожих останавливалось, рассматривая этого чудака в образе спасителя. Какой-то господин в шубе, кативший мимо в блестящем автомобиле, наклонился к своей даме в белой вуали и указал ей на этого мечтателя с внешностью отшельника. Дама в развевающейся вуали со смехом махнула рукой.

В этот день город мне представился в новом освещении. Он показался мне каменным морем, в котором путано перекрещивались потоки улиц, как жизненные дороги, дороги судьбы. Всматриваясь в фасады

домов, я различал за ними комедии и трагедии, грубость и пошлость, но порой перед моим внутренним взором развертывались и героические романы.

За время моих странствований я побывал однажды в Помпее. Античные улицы, дома и стенная живопись рассказывали мне о жизни города, потонувшего в лаве. Передо мной ожили тысячелетия. И теперь я вспомнил о Помпее. Внезапно у меня мелькнула мысль, что в сущности всякий город — раскопанная Помпея, что по лицам людей можно прочесть их жизнь. И я стал вглядываться в людей. Сначала их лица были для меня загадкой, и только изредка я видел, как по ним пробегал холод расчета или багрянец судороги. Немного спустя я уже научился читать на каждом лице.

И я увидел мрак уныния, страх за существование, пламя ненависти. Однако на-ряду с этим я встречал и бодрость, а на многих лицах светилась и готовность принять новую жизнь. По множеству разнообразнейших лиц составил я себе облик нарождающейся эпохи. Много людей прошло мимо меня, любимых и нелюбимых, в числе их я видел и вас, молодые орлиные лица, омраченные серой скукой подневольной наемной работы.

Потом наступило 1 мая.

Рабочий народ завоевал себе весь город. Я шагал вместе с Функе в одной из великолепных манифестаций. Мое сердце уносилось навстречу тем неисчислимым миллионам людей, которые сегодня прогудели по улицам во всем мире.

— Ты видишь, Клингер, — радостно говорил мне Функе, когда мы шагали по городу, — на фабриках сегодня остановлены все машины. Они парализованы нашей силой и нашей волей. Точно так же у нас станет силы и на то, чтобы остановить проклятые машины новой войны — миллионами рук!

— Это в нашей власти, — отвечал я. — Ружья стали рассуждать. Они знают, куда им стрелять, раз дело дошло до стрельбы. Думаешь ли ты, что мы еще раз позволим погнать себя на бойню, как скотину, или отравлять, как крыс? Никогда! Мы завоюем себе весь мир, — нашим сердцем и мозгом. Ну, и нашими железными кулаками, коли на то пошло.

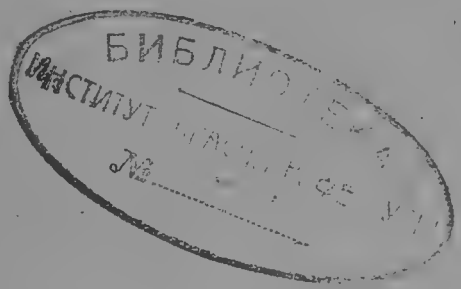
— Да, — сказал Функе, — а что же тогда будет? Вечный мир? Райское блаженство?

— Нет, только не рай! — ответил я. — Земля будет — цветущая, прекрасная, плодородная земля. Будет народ и будет человечество и будет жизнь со всеми чудесами и действительностью, которая, пожалуй, чудеснее всех чудес. И борьба останется, упорная и радостная борьба за усовершенствование формы и организации всех вещей.

— Войны больше не будет, — продолжал Функе, — а будет хлеб и красота.

— Все это будет, и еще много больше, товарищи, — произнес возле нас звонким голосом молодой рабочий. — Все это — и мало-по-малу восторжествует свобода...

Грянули громовые раскаты тысячеголосой песни, и все разговоры потонули в золотом облаке гармонии, в которой уже чувствовалась красота грядущей обновленной земли.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
Глава первая. Девушки на войне	3
Глава вторая. Мертвые в лесу	15
Глава третья. Братанье	27
Глава четвертая. Большая Медведица	40
Глава пятая. Сражение в Аргоннах	51
Глава шестая. Виктория	64
Глава седьмая. На высотах	77
Глава восьмая. На той стороне	91
Глава девятая. На «Мельнице Мертвых»	103
Глава десятая. Мы встречаемся	113

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва—Ленинград

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 195 **Барбюс А.** Оттуда. Рассказы. Перев. с франц. М. Э. Олениной, стр. 64, ц. 10 к.

№ 41 **Бергстедт Г.** Бегство Венеры. Перев. с датского А. В. Ганзен, стр. 64, ц. 10 к.

№ 112—114 **Бергстедт Г.** Праздник Иоргена. Роман. Перев. с датского А. В. Ганзен, стр. 192, Ц. 30 к.

№ 143 **Берковичи К.** Гинца. Рассказы. Пер. с анг. П. Охрименко, стр. 63, ц. 10 к.

№ 183 **Берковичи К.** Женское сердце. Рассказы. Авторизованный перев. с англ. П. Охрименко, стр. 63, ц. 10 к.

№ 87 **Берковичи К.** Кино-атер. Рассказы. Перев. с англ. П. Охрименко, стр. 64, ц. 10 к.

№ 172 **Берковичи К.** Счастье. Рассказы. Перев. с англ. П. Охрименко, стр. 63, ц. 10 к.

№ 4 **Бласко-Ибаньес В.** Разобличенный Альфонс XIII. Военный террор в Испании. Перев. с испанск. Предисл. С. Б. Ингулова, стр. 96, ц. 10 к.

№ 88—90 **Бродерсен Оге.** Франсен Перев. с датского А. В. Ганзен, стр. 160, ц. 30 к.

№ 206 **Вагнер А.** Осман. Новеллы. Пер. с нем. А. А. Петрова, стр. 64, ц. 10 к.

№ 200—201 **де-Зер-Стекпуль Г.** Король Малоки. Пер. с англ. А. В. Лучинской. Предисл. С. Данилова, стр. 124, ц. 20 к.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва—Ленинград

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 107—111 **де-Вер-Стекпуль Г.** Ордер на освобождение. Роман. Перев. с англ. А. В. Луцинского, стр. 318, ц. 50 к.

№ 153 **Винниченко В.** Победитель. Рассказы. Перев. с украинск., стр. 64, ц. 10 к.

№ 159—160 **Винниченко В.** Радость. Рассказы. Перев. с украинск., стр. 94, ц. 20 к.

Виу Марсель. Бабэ Каду. Печ.

№ 42—44 **Гандельман Джулиус. Е. и М.** Пыль. Роман. С предисл. к русскому переводу Э. Синклера. Перев. с англ. П. Охрименко, стр. 192, ц. 30 к.

Гамсун К. Мечтатель. Печ.

№ 149—152 **Гелсуорси Дж.** Остров фарисеев. Роман. Перев. с англ. М. М. Айзенштат, стр. 224, ц. 40 к.

№ 13 **Генри О.** Дары волхвов. Рассказы. Изд. 2-е, стр. 64, ц. 10 к.

№ 5 **Генри О.** Женщина. Рассказы. Перев. с англ. К. Чуковского, О. Поддячей, Н. Бронского, Л. М. Гаусман, стр. 64, ц. 10 к.

№ 45—48 **Генри О.** Короли и капуста. Роман. Пер. и предисл. К. Чуковского, стр. 258, ц. 40 к.

№ 56 **Генри О.** Поросячья этика. Рассказы. Перевод с английск. К. Чуковского, Л. М. Гаусман, О. Поддячей, изд. 2-е, стр. 64, ц. 10 к.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва—Ленинград

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ *131* **де-Гобино.** Великий чародей. Перев. с франц. Рюр. Ивнева, стр. 64, ц. 10 к.

№ *127* **де-Гобино.** Влюбленные из Кандагара. Расск. Пер. с франц. Рюрика Ивнева, стр. 64, ц. 10 к.

№ *122* **Грубинский В.** Пир Валтасара. Рассказ. Перев. с польск. С. Михайловой-Штерн, стр. 64, ц. 10 к.

Даниловский Г. Ласточка. Печ.

Даудистель. Хромые боги. Печ.

Джером-Джером. Скрага из Саардама.

№ *302—303* **Джером-Джером.** Человек, который не верил в счастье. Юморист. рассказы, стр. 57, ц. 20 к.

Додэ А. Порт Тараскон. Печ.

Додэ А. Тартарэн из Тараскона. Печ.

Додэ А. Тартарэн в Альпах. Печ.

Дюамель Ж. Двое. Печ.

Дюамель Ж. Любовные дела Понсо. Рассказы. 1914—1917. Перев. с франц. Ю. Н. Тынянова. Изд. 2-е, стр. 60, ц. 10 к.

№ *178—182* **Дюшен Ф.** Тамилла. Роман. Перев. с франц. В. А. Барбашевой, стр. 269, ц. 50 к.

№ *142* **Жеромский С.** Воронье. Рассказы из эпохи польского восстания. Перев. с польск. Е. Троповского и М. Троповского, стр. 64, ц. 10 к.

№ *175* **Жироду Ж.** Святая Эстелла. Пер. с франц. Е. Рафальской, стр. 61, ц. 10 к.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва — Ленинград

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 148—119 **Жолинон Ж.** Холопы славы. Избранные рассказы. Перев. с франц. О. Парнок, стр. 93, ц. 20 к.

№ 236—238 **Ибаньес Хозе-Антонио.** Барселонские террористы. Пер. с испанск. В. А. Игельстрома, стр. 160, ц. 30 к.

№ 260 **Иллеш Белла.** Долг красных, стр. 64, ц. 10 к.

№ 60—62 **Истрати Панаито.** Гайдуки. Рассказы Андриана Зограффи. Перев. О. М. Новиковой. Под ред. И. А. Новикова, стр. 160, ц. 30 к.

Истрати Панаито. Детство Андриана Зограффи, стр. 158, ц. 30 к.

№ 57—59 **Истрати Панаито.** Дядя ангел. Рассказы Андриана Зограффи. Перев. О. М. Новиковой. Под. ред. А. И. Новикова, стр. 192, ц. 30 к.

№ 52—54 **Истрати Панаито.** Кира Киралина. перев. с франц. О. М. Новиковой. Под. ред. И. А. Новикова. Предисл. Ромэна Роллана, стр. 192, ц. 30 к.

№ 33 **Клебер К.** Баррикады. Рассказы. Перев. Т. Глебовой. Изд. 2-е, стр. 64, ц. 10 к.

№ 213—214 **Конрад Дж.** Аванпост цивилизации. Пер. с англ. А. В. Кривцовой, стр. 96, ц. 20 к.

№ 91 **Конрад Дж.** Двойник. Рассказ. Перев. с англ. А. Кривцовой. Под. ред. Е. Лавна, стр. 64, ц. 10 к.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва — Ленинград

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 134—138 **Фурманов Д.** Семь дней (Сокращено по «Мятежу».), стр. 288, ц. 50 к.

№ 32 **Шишков Вяч.** Шерлок Холмс. Иван Пузиков. Шутейные рассказы, стр. 64, ц. 10 к.

№ 20 **Шишков Вяч.** Шутейные рассказы, стр. 64, ц. 10 к.

№ 196 **Шолохов М.** О Колчаке, крапиве и прочем. Рассказы, стр. 64, ц. 10 к.

№ 184 **Эренбург И.** Черная переправа. Рассказы из книги «Тринадцать трубок», стр. 84, ц. 10 к.

№ 93—97 **Адес А. и Жизиповиси А.** Книга о простеце Гоа. Перев. с франц. О. М. Новиковой, под ред. И. А. Новикова, стр. 340, ц. 50 к.

№ 256 **Амп П.** Богатый город. Стр. 50, ц. 10 к.

№ 254 **Амп П.** Железный регей, стр. 71, ц. 10 к.

№ 1 **Амп П.** Свежая рыба. Роман. Перев. с франц. Д. Д. Благого, стр. 61, ц. 20 к.

№ 244—247 **Амп П.** Шампанское, перев. Д. Благого, стр. 240, ц. 40 к.

№ 133 **Андерсен-Нексе Мартин.** Стены. Рассказы. Перев. с датск. С. Г. Займовского, стр. 64, ц. 10 к.

Андерсон Шервуд. Лошади и люди. Печ.

№ 290—294 **Бальзак О.** Тридцатилетняя женщина. Сцены из частной жизни. Перев. с франц. М. Андреевой, стр. 288, ц. 50 к.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва — Ленинград

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 115—117 **Сейфуллина Л.** Виринея, стр. 160, ц. 30 к.

№ 223—224 **Сейфуллина Л.** Перегной. Рассказ, стр. 128, ц. 20 к.

№ 211 **Сейфуллина Л.** Правонарушители. Рассказы, стр. 62, ц. 10 к.

№ 6 **Сейфуллина. Л.** Преступление. Рассказ, изд. 2-е, стр. 54, ц. 10 к.

№ 185 **Серафимович А.** Ледоход. Рассказы, стр. 64, ц. 10 к.

№ 171 **Серафимович А.** Морской кот. Рассказы, стр. 63, ц. 10 к.

№ 165 **Серафимович А.** Мстители. Рассказы, стр. 64, ц. 10 к.

№ 188 **Серафимович А.** Полосатый зверь. Рассказы, стр. 58, ц. 10 к.

№ 85—86 **Слезкин Ю.** Шахматный ход. Повесть смутных украинских дней, стр. 128, ц. 20 к.

№ 34—35 **Соболь А.** Салон-вагон, стр. 124, ц. 20к.

№ 73—75 **Тарасов-Родионов А.** Трава и кровь. (Линев.) Повесть, стр. 192, ц. 30 к.

Толстой Л. Казаки. Печ.

Толстой Л. Севастополь. Печ.

Тургенев И. Песнь торжествующей любви. Печ.

Уткин И. Избранные стихи и поэмы. Печ.

№ 161 **Форш О.** Товарищ Пфуль. Рассказы, стр. 64, ц. 10 к.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва—Ленинград

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 338—339 **Горький М.** Двадцать шесть и одна. Повесть, стр. 88, ц. 20 к.

Грин А. С. Золотая цепь. Печ.

№ 49 **Грин А. С.** Золотой пруд. Рассказы, стр. 62, Ц. 10 к.

Жаров А. Избранная лирика. Стихи красивой девушке. Печ.

№ 39—40 **Замятин Евг.** На куличках. Повесть, стр. 128, ц. 20 к.

№ 115 **Замятин Евг.** Фонарь, стр. 64, ц. 10 к.

№ 19 **Иванов В.** Происшествие на реке Тун. Рассказы. Изд. 2-е, стр. 64, ц. 10 к.

№ 173—174 **Иванов В.** Хабу. Повесть, стр. 96, ц. 20 к.

Инбер В. Чеснок в чемодане. Печ.

Инбер В. Васька Свист. Стихи. Печ.

Казин В. Избранные стихи и поэмы. Печ.

№ 240—241 **Коллонтай А.** Большая любовь, стр. 132, ц. 20 к.

№ 163—164 **Леонов Л.** Записки Ковякина, стр. 109, ц. 20 к.

Маяковсаий В. В. И. Ленин. Печ.

№ 132 **Никитин Н.** О бывшем купце Хропове, об Олимпиаде Ивановне и о веселом художнике Мокине. Повесть, стр. 64, ц. 10 к.

№ 36 **Пильняк Б.** Наследники и др. рассказы, стр. 64, ц. 10 к.

№ 92 **Пильняк Б.** Рассказ о ключах и глине, стр. 58, ц. 10 к.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва—Ленинград

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 37—38 **Аросев А.** Недавние дни. Повесть. Изд. 2-е, стр. 128, ц. 20 к.

№ 210 **Аросев А.** Фарситская легенда. Рассказы, стр. 60, ц. 10 к.

Асеев. Молодые стихи. Печ.

№ 22 **Бабель И.** Рассказы. Изд. 2-е, стр. 64, ц. 10 к.

№ 193 **Безыменский А.** Партбилет. № 224332. Стихи о Ленине, стр. 62, ц. 10 к.

№ 310—311 **Билль-Белоцерковский В.** Шторм. Пьеса в 4-х действ. и картинах. стр. 128, ц. 20 к.

№ 25 **Горький М.** Городок. Заметки из дневника. Воспоминания, стр. 64, ц. 10 к.

№ 359 **Горький М.** Рождение человека. Рассказы, стр. 62, ц. 10 к.

Горький М. Женщина, стр. 60, ц. 10 к.

№ 357—358 **Горький М.** Мальва, стр. 88, ц. 20 к.

№ 14 **Горький М.** О первой любви. Рассказы, изд. 2-е, стр. 62, ц. 10 к.

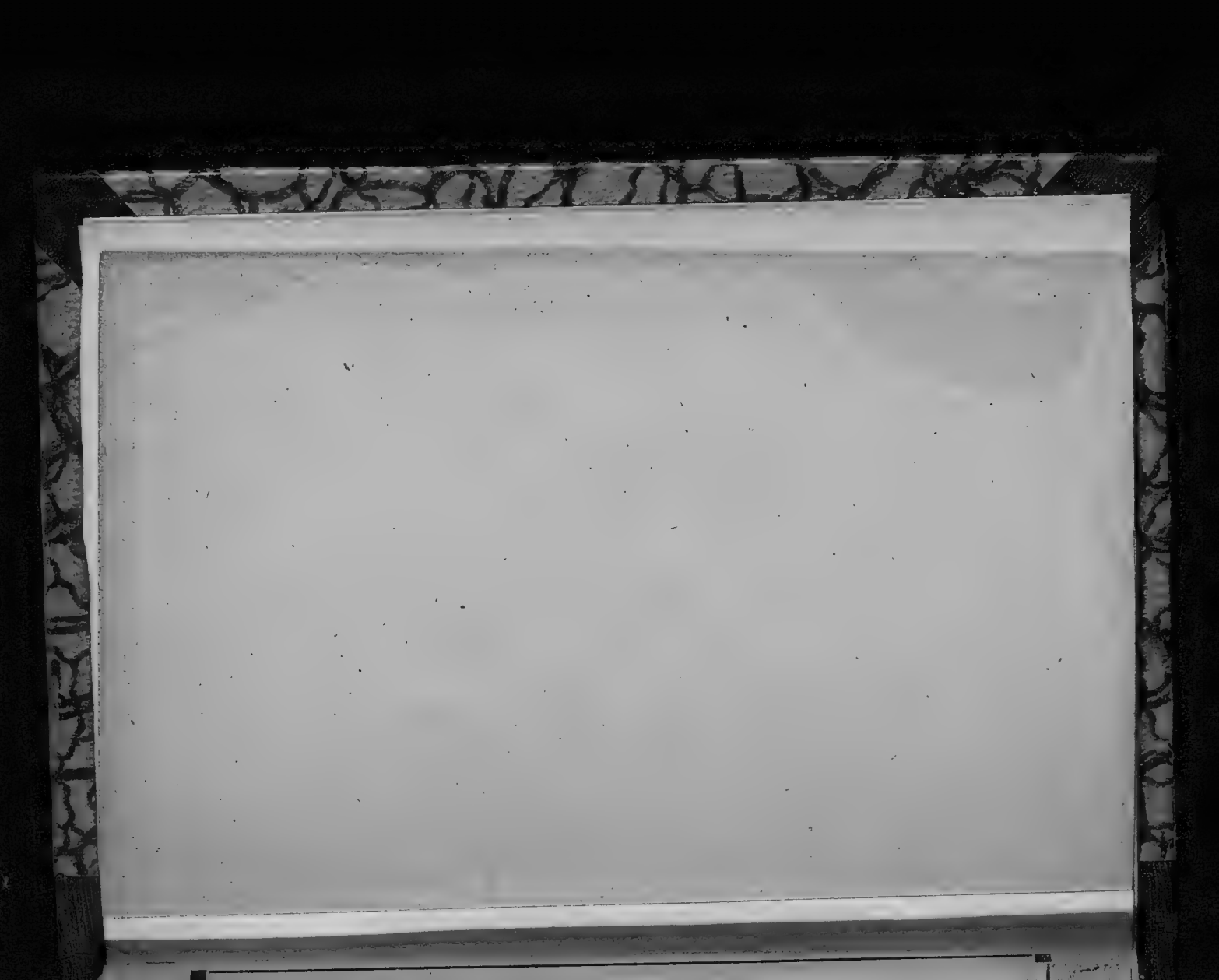
№ 186—187 **Горький М.** О тараканах, стр. 92, ц. 20 к.

№ 3 **Горький М.** Пожары. Заметки из дневника. Воспоминания, стр. 64, ц. 10 к.

№ 50—51 **Горький М.** Рассказ о безответной любви. Изд. 2-е, стр. 96, ц. 20 к.

№ 79—80 **Горький М.** Сторож. Рассказы, стр. 126 ц. 20 к.

№ 360 **Горький М.** Мордовка. Рассказ, стр. 60, ц. 10 к.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

283—284. Д. Лондон. Мужская верность.
285—287. Мопассан. Пытка.
288—289. Д. Лондон. Страшные Соломоновы о-ва.
290—294. О. Бальзак. Тридцатилетняя женщина.
295—296. Д. Лондон. Великое чудо.
297—299. Г. Мопассан. Дом Телье.
300—301. Д. Лондон. Сила женщины.
302—303. Джером. Человек, который не верил в счастье.
304—305. Джером. Скряга из Саардама.
306—307. А. Доде. Тартарен из Тараскона.
308—309. Честертон. Таинственные рассказы.
310—311. В. Билль-Белоцерковский. Шторм.
312—314. П. Истрати. Дом-ница из Снагова.
315—316. Х. А. Ибаньес. Товарищ из Мадрида.
317—318. А. Хейс. Куда глаза глядят.
319—321. Ж. Дюамель. Дневник Салавэна.
322—326. Г. Уэллс. Люди как боги.
327—330. К. Лемонье. Конец Рассанфосов.
331—332. Р. Эйдеман. Время долга.
333—337. Дж. Голсуорси. Серебряная ложка.
338—339. М. Горький. Двадцать шесть и одна.
340—341. Г. Цур-Мюлен. Лина.
342. Р. Рийкс. Компаньоны.
343—348. А. Мюрже. Богема.
349. М. Горький. Женщина.
350. А. Жаров. Сердце не остудишь.
351—356. Г. Уэллс. Утро жизни.
357—358. М. Горький. Мальва.
359. М. Горький. Рождение человека.
360. М. Горький. Мордовка.
361—363. М. Коцюбинский. Фата-Моргана.
364—365. И. Тургенев. Песнь торжествующей любви.
366—367. В. Маяковский. В. И. Ленин.
368—370. П. Истрати. Детство Адриена Зографи.
371—373. Л. Толстой. Севастополь.
374—375. А. Арманди. Обреченные весельчаки.
376—377. М. Бартель. Мельница мертвых.

ЦЕНА КАЖДОГО НОМЕРА 10 КОП.